

СИГИЗМУНД  
КРЖИЖАНОВСКИЙ

*Шридхаджуатан катогофия рассуока*



# Сигизмунд Доминикович Кржижановский Странствующее «Странно»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=178385](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178385)  
Тринадцатая категория рассудка: Эксмо; М.; 2006  
ISBN 5-699-18798-7*

## Аннотация

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

# Содержание

I	8
II	49

# Сигизмунд Кржижановский

## Странствующее «Странно»

*...Это «странно» – как странника прими в свое жилище.*  
*«Гамлет», д. 1, сц. 5.*

– На циферблате шесть. Ваш поезд в девять?

– В девять тридцать.

– Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, разумеется.

Мой собеседник, запахнув халат, подошел, топчя плоские цветы ковра, к подоконнику, и глаза его, щурясь из-под припухлых старческих век, с состраданием оглядели пространство, которому некуда было странствовать.

– Странно, – пробормотал я.

– Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда: в странно. Мало: странствия превратят вас самого, ваше «я», в некое «Странно»; от смены стран вы будете страннеть, хотите вы этого или не хотите; ваши глаза, покотившись по свету, не захотят вернуться назад в старые удобные глазницы; стоит послушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас; стоит растревожить кожу на подошвах ног, и она, раззудевшись,

превратит вас в существо, которое никогда не возвращается.

Я смотрел на дуговидные морщинки, шевелившиеся вокруг рта старика, и думал: этот раз, вероятно, последний. Когда вернусь, скоро ли это будет, придется искать его не здесь – на кладбище. А там уж какие разговоры. И я решил сфорсировать тему.

– Учитель, – спросил я, отыскав зрачками его острые, даже чуть колющие зрачки, – правда ли все то, что говорят о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорожных указателей. Мне бы хотелось увезти с собой хотя бы несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. Вы же... помогите мне, учитель, – хотя бы маршрутами. Или воспоминаниями: поверьте, то *странно*, в которое превратят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не сдвинув в них ни единой буквы.

– Видите ли, – начал старый маг, усаживаясь в истертое кожаное кресло, – с тех пор как я служу в Кооперотопе, я забросил и самую мысль о путешествиях: пусть земля ерзает по своей орбите, как ей угодно, – с меня довольно. Вероятно, и счетная костяшка, которую вечно гоняют по стержню, считает себя заправской путешественницей. Но неусидчивость не выводит ее, как известно, за квадрат счетной рамы. Так. Но в юности, разумеется, думалось по-иному: тогда я откликался на зовы пространства, хотел дойти до *куда* всех дорог, наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собствен-

ными глазами всю шершавую кожу планеты.

– Представляю себе. И мне бы хотелось, учитель, получить от вас схему одного из ваших самых длительных и трудных путешествий: такого, которое бы брало землю тысячеверстными кусками, которое бы...

– Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой юный друг: самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной.

– Вы шутите?

– Нисколько. И мне кажется, что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим на пальцах отсчитанным футам: последние четыре года, мой друг, я, как вы знаете, немногим подвижнее трупa. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела которой я, не без любопытства, наблюдаю, уже не та страна; и мне не нужно было, как вы это хорошо знаете, хлопотать о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград.

Я улыбнулся:

– Пожалуй. Но все же я повторяю свою просьбу: если не вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ о путешествии с маршрутом в семьдесят футов, думаю, не отнимет много времени.

– Не скажите. Хотя, если мне только удастся разминуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас?

– Шесть тридцать.

– Так. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь дела?

– Нет, учитель. До девяти я могу слушать.

– Хорошо. Тогда садитесь. Нет, не сюда: в кресло. Так.

Начну.

# I

– Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель, я не могу с книгой в руках показать вам те сложные формулы и максимы, которые путеводили нами, магами, в годы наших ученических странствий. Но суть в следующем: самое имя *Magus* от потерявшего букву слова *magnus*: большой. Мы – люди, почувствовавшие всю тесноту жилпланетных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира *большого*. Но в *большее* – лишь один путь: через *меньшее*; в возвеличение – сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лилипутии, принужден был закончить его в стране Великанов. Правила нашего магического стажа, – поскольку они хотят сделать нас большими среди меньших, великанами среди лилипутов, естественно, стягивают линии наших учебных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, лишь путем трудной и длительной техники умаления.

Рельсы, дожидаящиеся вас, мне всегда напоминали длиннющий в бесконечность свои параллели *знак равенства* (=).  
Говоривший сделал двукратный жест.

– Но есть и другой знак. Вот: (скользнув глазами за ладонью, вклинившей в воздух острие угла, я молча кивнул головой и продолжал слушать). Я хорошо помню то сквозистое июньское утро, когда *мой учитель*, это было уже сорок с



лишком лет тому назад, призвав меня к себе, начертил именно этот простой, из двух карандашных линий, знак и, перенеся свой указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на правую его сторону, сказал:

– Вам пора: отсюда – туда.

Я смотрел на линию своего маршрута и молчал.

– Вам, юным, – добавил наставник, – подавай семимильные сапоги. Но терпение: раньше чем позволить шагу из аршинного стать семимильным, надо научить его микромикронности.

Я продолжал молчать. Тогда наставник, отщелкнув двумя поворотами ключа крышку костяной шкатулки, стоявшей у него на столе, показал мне три тщательно обернутых в вату стеклянных пузырька. Под притертыми пробками их внутри вспучившегося стекла мутно мерцали жидкости: желтая, синяя и красная.

– Вот эта тинктура, – перед глазами у меня, вымотавшись из ваты, просверкал рдяную третий пузырек, – эта тинктура обладает поразительной силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило б на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела. И если б это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы обрызгать им всю землю, нашу планету легко можно было бы сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашенные мячи. Но мы с вами начнем с другого флакона.

С этими словами наставник передал мне желтую тинкту-

ру. Только теперь я увидел: поверх билетика, наклепленного на стекло, чернели еле различимые бисеринки букв.

– Способ употребления, – пояснил мне мастер, – послушайте этих букв, и вы сами станете в рост им. Сегодня же, до заката, тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути.

Взволнованный, колеблясь меж нетерпением и страхом, я вышел на улицу. Желтые солнечные пятна, ползающие по раскаленной полднем панели, не давали мне забыть о десятке желтых капелек, запрятанных в моем жилетном кармане и ждущих внутри своей стеклянной скорлупы близящегося с каждым моим шагом срока. Я шел будто на спутанных ногах: воображение начало действовать раньше тинктуры; мне казалось – самые шаги мои то странно укорачиваются, то неестественно длинятся. Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им вздумается. Я прощался с пространством: с привычным, в лазурь и зелень раскрашенным, *моим*, пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног: размеренно, подымая и опуская ступни, сгибаая и разгибаая колени, движением, напоминающим стальной аршин, уверенно шагающий, под толчками пальцев приказчика, вдоль мерно разматываемой штуки материи, – они разматывали и мерили свое, привычное пространство, которое видишь и с закрытыми глазами, которое несешь в себе, обжитое и исхоженное, почти застег-

нудное вместе с телом, под пуговицы твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежд о тело, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выписанной по синему фону, ловил каждый звук и призыв, ввившийся в мои ушные завитки, цеплялся глазом за каждый блик и отсвет, запутавшийся в моих ресницах. Я прощался с пространством. Мимо глаз, раскачиваясь в сетке, прополз чей-то пестрый мяч. Я поднялся и пошел дальше. Где-то на перекрестке мне сунули в руки газету. Я развернул ее еще влажные листы и, скользнув по столбцам, тотчас же заметил крохотные буквы петита, сотнями беззащитных черных телец согнанные в строки. Тотчас же ассоциация дернулась у меня в мозгу, и, скомкав газету, я быстро сунул руку в карман и нащупал там холодный дутьш пузырька. Стоило швырнуть его на камень, наступить подошвой – и...но я этого не сделал. Нет: именно в этот момент нетерпение заслонило страх, и я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов, будто выдергиваясь из пространства, и единственное, что я видел тогда, с почти галлюцинаторной ясностью, это бледный и длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону ломаной черты, за знак неравенства, звал меня: туда.

Вскоре, впрочем, припадок возбуждения утих. На предпоследний этаж дома, в котором снимал я комнату, я поднялся с чувством твердой, но холодной решимости. В полутьме подъезда на одном из поворотов узкой лестницы мне пришлось обменяться кивками с моими соседями, жившими

надо мной: встречи наши, довольно редкие, всегда происходили здесь, в полумраке лестницы, и потому нам никогда не удавалось друг друга рассмотреть. Я знал только, что астматически дышащий ворох из пледов, кашне и пелерин поверх пелерин, тычащий палкой в ступеньки и мучительно шаркающий подошвами о камень, – это заслуженный профессор и чуть ли не академик, возящийся с какими-то ретортами и пипетками, с матрикулами студентов, а также и с женой, которая и в эту встречу, как во все иные, прошуршав мимо меня шелками юбок и наполнив полутьму запахом «Шипра» и терпкой тревогой, – став у верхней площадки, терпеливо ждала спотыкающуюся десятью ступеньками ниже палку.

Я открыл свою дверь и, войдя в комнату, повернул ключ в замке слева направо. Потом, выдернув его из замочной скважины, спрятал в одном из ящиков письменного стола. Солнце было на излете. Вынув часы, я положил их перед собой: шесть тридцать. Теперь пузырек: лупа, растянув черные значки поверх пузырька, быстро и точно раскрыла их смысл. Стиснув стекло меж пальцев, я осторожно повернул ему пробку: о, как непохож был этот колющий ноздри прогорклый запах на благоухание, оставшееся там, за защелком ключа, над ступеньками лестницы. На миг мне показалось, будто астма старого профессора переползла в мои легкие: мне стало трудно дышать. Подойдя к окну, я толкнул его створами наружу. Тем временем минутная стрелка успела уже сделать дугу в сто восемьдесят градусов. Надо было ре-

шаться: я поднес пузырек к губам – через мгновение он был пуст. После этого я еле-еле успел, выполняя волю букв на этикетке, запрятать пустой пузырек в заранее намеченное мною укромное место: у пола, меж стеной и обоями. Тело мое, уже в ту секунду, когда я запихивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться и плющиться, как прорванный воздушный пузырь: стены бросились прочь от меня, рыжие половицы под ногами, нелепо разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту, потолок прынул кверху, а плоский, желто-красный обойный цветок, который я за секунду перед тем, возясь с пузырьком, отогнул, прикрывая пальцами руки, вдруг неестественно ширясь желто-красными разводами, пополз, забирая рост, пестрой кляксой вверх и вверх. Мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки: когда я раскрыл их, то увидел себя стоящим у входа в довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько времени, пока я понял: это пузырек, очевидно, оброненный моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас лишь жалкое, в пылиночный рост существо, мог еще его обронить.

На одном из прозрачных выгибов туннеля я увидел огромные черные знаки; в тот же миг я вспомнил их смысл, и сердце радостно заколотилось во мне. Ведь в надписи на пузырьке ясно говорилось о способе возврата в прежнее тело и в прежнее пространство: стоило лишь отыскать на внут-

ренной плоскости доньшка пузырька-туннеля врезанный в стекло магический знак и прикоснуться к нему, – и немедленно должно произойти обратное превращение.

Слома голову я бросился внутрь стеклянного раструба: звон моих шагов бился о круглые стены. Я добежал до прямой стеклянной стены... «А вдруг, – всполохнулось во мне, – пузырек упал знаком кверху. По скользкой и гладкой стене мне никак не добраться до спасения. И я погибну, на расстоянии дюйма от знака: дюйм преградит мне путь назад в тысячеверстия земли».

Но, по счастью, знак оказался у нижнего края стены. Я быстро отыскал глазами знакомое им сцепление двух линий математического знака *неравенства*. Упав острым науглием книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии, как птица расправляет крылья, занесенные для полета. «Свобода», – прошептал я, протягивая руку к знаку. «Страх», – услышал я в себе полусекундой позже. Я не повторил этого слова, но оно звучало громче, чем то, первое. Да, мое *назад* было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по гулкому стеклу, направился в неизвестное *вперед*. И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю загадку разгадке, заданное данному, дальний конец алфавита с иксом и зетой – элементарным абцедам и абвегам: и в данном случае я не изменил своему обыкновению.

Минуты слишком быстро ползут по циферблату, мой

друг, чтобы я мог позволить себе дробное и кропотливое, день за днем, описание моих странствий, начатых с зарею следующего дня. Вспомнив, что от пола к подоконнику моей комнаты прощелилась, как я это когда-то заметил во время уборки, глубоким, всползающим по стене зигзагом, щель, – я решил использовать ее для подъема на плато подоконника. Мне пришлось затратить довольно много часов, пока я не отыскал ее нижнего ущелистого края и не начал своего двухдневного подъема кверху. Впоследствии, когда я с группой альпинистов брал Кляузеновский перевал, они дивились моей тренированности и выносливости: объяснять им, что этим я обязан стенной щели длиной в три фута, я, конечно, не стал. Так или иначе, намучившись на кривых изломах и срывах своего почти отвесного пути, я наконец, к утру третьего дня достиг подоконничного края. Ступив на его плоскую поверхность, покрытую геологическими пластами растрескавшейся белой краски (эти трещинки, которые еще неделю тому назад я слабо ощущал, скользя ладонью по подоконнику, сейчас учили меня рекордным прыжкам), – я чувствовал себя горцем, рассматривающим, стоя меж глыб горного перевала, провалы далее, втягивающих в себя глаз. Створы окна, оставленные прежним «мною» открытыми, давали доступ воздуху, а следовательно, и ветру. Мне очень трудно было бороться с его воздушными ударами: цепляясь за выступы облупившихся пластов краски, прячась за их приподнятыми краями, я прилагал все усилия, чтобы не быть свеянным

вместе с уличной пылью, осевшей на подоконник, прочь с его поверхности. Позади был срыв к желтевшему где-то снизу полу моей комнаты, впереди – отвесная кирпичная стена, падающая в бесконечно глубокий провал улицы. Продолжать прятаться по щелям меж краской и деревом на унылой и плоской белой равнине подоконника было бессмысленно и скучно. Надо было решаться: и я решился.

Цепляясь зеленой лапой за наружный край подоконника, кверху по кирпичному русту полз плющ. Подъем по этой зеленой витой лестнице был, конечно, опасен, но я, пользуясь наступившим внезапным безветрием, хватаясь за ворсинчатые торчки живой лестницы, стал смело взбираться кверху. От времени до времени я отдыхал внутри липких складчатых листьев плюща. Но после нескольких дней подъема я заметил, что зеленые площадки моей лестницы все уже и меньше и что самая спираль ее, сделав еще несколько оборотов, обрывается в пустоту. Подсчитав пройденные кирпичные рубцы, я понял, что нахожусь на полпути меж двух подоконников, в трех футах от квартиры старого профессора.

– Дело не так плохо, – сказал я себе, раскачиваясь в изумрудном гамаке, подвешенном на упругом тяжке к стеблю: надо лишь запастись терпением и положиться на силу роста, скрытую в плюще, – и моя лестница сама подымет меня кверху.

Так для меня настали дни бездейственного ожидания: днем солнце, озеленив лучи, пробиралось ко мне сквозь нер-



вюры ткани внутри листа; по ночам, пододвинувшись к рубчатому краю своего обиталища, я мог любоваться россыпью желтых и синих звезд, заживавшихся где-то внизу, подо мной. Вначале это перемещение звездного неба несколько озадачило меня, но после я понял: тинктура, стянув в пылинку мое саженное тело, укоротила и радиус моего видения: глаза не могли уже дотянуться до Сириуса и Полярной звезды, но обыкновенные уличные фонари заменяли им, как умели, созвездия.

Часто я старался представить себе то, что ждет меня там, за окном старого профессора и его юной жены. В то время я был так же молод, как и вы, мой друг. И конечно, не только жизненная сила, скрытая в спиральях плюща, но и иная, таимая во мне, тянули меня вверх к подоконнику юной профессорши. Иногда, в бессонные ночи, к горьковатому запаху растительных смол примешивался, как мне мнилось, знакомый легкий, но дразнящий «Шипр». И пока плющ, расправляя свои зеленые мышцы, полз на хватких лапах, усиками кверху, мое воображение, обгоняя его, давно уже было там, за окном.

Но когда три фута, спираль за спиралью, были взяты, и я наконец, сделав рискованный прыжок, вскарабкался на край подоконника, о котором так долго мечтал, меня ждал неожиданный удар: стекло и рама окна, тщательно замазанные и оклеенные, преграждали путь. Я забыл, в своем юношеском оптимизме, о том, что дряхлый профессор даже и в июль-

ские жары ходил под полудюжиной пледов и что окна в его квартире почти никогда не открывались.

Раздосадованный и злой, целый день бродил я вдоль тщательно замазанной щели: нигде – ни прохода, ни даже лазейки.

Мне оставалось: или спуститься по извивам плюща назад, или с неиссякающим терпением дожидаться своего *вперед*. И на этот раз я выбрал последнее.

Тем временем июль – я вел аккуратный счет дням, – поначалу довольно прохладный и влажный, становился все суше и жарче. Мучаясь под раскаленным стеклом окна от нарастающего зноя, я вместе с тем радовался ему и молил небо о еще большей жаре: ведь только тропическая температура могла разжать стеклянные створы, преграждавшие мне доступ внутрь.

Томительные дни тянулись друг за другом, разделенные короткими черными прокладками ночи, тоже душной и знойной, – я уже было начал отчаиваться, когда вдруг, как-то поутру, стекло и рама затряслись от ударов изнутри. Колоссальные глыбы замазки падали сверху. Я еле успел юркнуть в узкую пещеру, рытую червем-древоточцем, как что-то грохочущей тенью, сыпля сверху скалы и лапилли, пронеслось надо мной. Выбравшись наружу, я увидел: путь был свободен.

Вначале у меня было чувство человека, забравшегося по веревочной лестнице в дом своей желанной. Вероятно, это

романтическое чувство и заставило меня дожидаться ночи: я медленно, шаг за шагом, вздрагивая и припадая к земле при каждом шуме, продвигался к внутреннему краю подоконника. Мне все еще трудно было привыкнуть к своей невидимости, и казалось, что все мои движения заметны обитателям комнаты.

Когда к вечеру я, свесив ноги внутрь одной из подоконных щелей, сидел, грезя о своем *завтра*, – вдруг меня ударило сильным током воздуха и прикрыло сверху гигантской, весь горизонт застлавшей тенью. Вскочив, я поднял глаза кверху и увидел две рушащихся на меня своими вершинами горы. В ужасе я сжал веки, приготовившись к смерти, но близкий и острый запах «Шипра» заставил веки разжаться снова. Да, это была она: два огромных, таких знакомых мысли и глазу знака неравенства, одетых не в карандашный графит и не в стекло, но в гигантскую массу обнаженного тела, уперлись, вправо и влево от меня, своими остриями в подоконник: это были руки жены профессора.

С минуту я, забыв опасность и риск, двигался навстречу дурманящему и влажному живому жару, пышущему мне навстречу.

– Какая теплая ночь, – прозвенело надо мною.

– Да. А все-таки, душенька, окно лучше бы закрыть, – прошелестело что-то голосом комкаемой бумаги из глубины комнаты.

– Но ведь воздух так чист: ни пылинки. И я не вижу ни-

чего, чтобы...

– Мало ли, что ты не видишь, душенька, – закомкалась снова бумага, – пролезет что-нибудь этакое, ну, невидимое, бацилла какая-нибудь или ну черт ли его знает что. Ты его не видишь, а оно в тебя втирушей этакой в альвеолы, в кровь, и возись потом...

Окно с грохотом закрылось, отрезая мне обратный путь. Но я уже успел добежать до торчащих мне навстречу ворсин платья юной женщины: обхватив одну из ворсин руками и коленями, я с бьющимся сердцем ждал событий.

– И-и, душенька, брось дуться. Вот принеси-ка мне лучше карты: нет, не там, на этажерке. Левее, левее. Ну-ну, поглядим: ведь вот проклятый пасьянс, никогда не выходит. Хоть ты что: ни так, ни этак. Ну вот: опять этот червонный король все напутал.

– Не выходит, так и бросил бы...

– Нет-нет, постой-погоди, я загадал: говорят, если выйдет, то надо карты под подушку, и все сбуд... гкх... гкх, черт, опять этот червонный дурак вытасовался.

Тем временем я, описав гигантские зигзаги по комнате, был внезапно почти придавлен к краю стола. Лишь ловкий кульбит спас меня от гибели, но все же сила толчка была так велика, что тело мое, сорвавшись с ворсины, за которую оно крепко держалось, больно ударилось о доску стола. Не теряя самообладания, я приподнялся на локте с желтой клеенки стола и увидел: целые стаи огромных бумажных прямоуголь-

ников, взлетов с шуршащим птичьим шумом, тотчас же мягко опали своими черными и красными знаками книзу. Я понял происшедшее: женщина смешала карты.

Это могло бы осложнить разговор, но в это время в глубине комнаты, почти из-за пределов моего видения, прозвучал третий голос:

– Барин, а барин, тут к вам с матрикулом. Который в шестой уже раз. Что им сказать: дома вы или нету?

Я слышал, как где-то внизу шумно зашаркали туфли. Вслед им четко и дробно застучали «каблочки», как подумал я, все еще не умея выключить свое мышление из старых схем.

Оставшись, как я полагал, один, я направился к хаотической куче игральных карт, расшвыренных по столу. Новый, пока еще смутный план начинал возникать в моей голове. Сперва я прошел поперек дамы треф и высунувшегося из-под нее алого ромба бубновой двойки. Что-то черное поползло мне под подошвы: выйдя из задумчивости, я увидел перед собой две довольно длинные аллеи, протянувшиеся вдаль: деревьев, собственно, не было, но неподвижные черные тени каких-то странно широких у земли и причудливо тонких у комля растений легли вдоль снежно-белой поверхности прямоугольного сада. Я было сделал несколько шагов вдоль одной из черных аллей, но тут только заметил, что путь мне дважды пресечен такими же тенями таких же деревьев, невидимо растущих посередине аллей. Я понял: это была де-

сятка пик. Конечно, ее черные пятна бессильны были перегородить мне дорогу, но какое-то странное чувство заставило меня, сойдя с аллеи, ворожащих смерть, обойти ее прямоугольный сад стороной, по обочине.

Тут впервые недоброе предчувствие вонзилось десятью черными остриями в меня. Не глядя по сторонам, медленно продолжал я шагать с карты на карту. Вдруг:

– Эй, вы, послушайте: вы наступили мне на сердце. Или вы полагаете, что это щетка для вытирания подошв? Отойдите.

Я повел глазами навстречу голосу и тут только увидел, что у меня под ногами, у закругленного края карты, на которую я только что, в рассеянии, ступил, дергается красное плоское сердце, странно сплюснвшееся под налетом бумажного глянца. С трудом удерживая равновесие, я добалансировал до края сердца и выпрыгнул на белую поверхность карты: теперь я ясно различал округло очерченные красные губы короля червей, которые, ероша рыжую щетину длинной бороды, недовольно и брезгливо шевелились.

– Кто вы, пришелец, вшагнувший в меня? – услышал я.

– Умаленный человек, – отвечал я.

– Нет умаления горче моего, – проговорили бумажные губы, – и как бы ни была печальна история, принесенная вами, история, которую вы унесете отсюда, будет еще печальнее. Приблизьтесь и слушайте.

Я, выбрав себе место на оконечине золотого плоского ски-

петра короля червей, уселся поудобнее и, протянув усталые ноги, подставил свои ушные раковины под рассказ.

– Теперь моему царству, – зашевелились снова бумажные губы, – и вот в этой картонной коробке для карт – просторно. И царство, и власть мои давно источены червями: наш маститый род стал глупой мастью, и я, который некогда со своими министрами *игрывал* в людей, я, превращенный в обыкновеннейшую карту, должен позволять им, людям, играть в нас, *в карты*. О, странник, можешь ли ты понять мир, в котором мили превратились в миллиметры, в дворцах и хижинах которого полы и потолки срослись в одну сплошную плоскость?

– Могу. Продолжайте.

– Мой род – отец, дед, прадед, прапрадед и я – столетиями сидел на нашем троне, окруженный трепещущими и благоговейшими подданными. Земля была слишком грязна для касания наших пят. Колеса, седла, носилки, лектики, спины камер-лакеев сделали для нас ноги излишними, а придворные козни и тайные заговоры создавали положение, когда иметь всего лишь одну голову оказывалось недостаточным. Вы понимаете, – ладонь говорившего, не покидая плоскости, опустилась «сверху вниз»: я кивнул головой. – Результатом приспособления нашей династии, говоря в терминах дарвинизма, к среде – является хотя бы то, что у меня, как видите, две головы плюс нуль ног. Но не это было причиной гибели моей и царства. Дело в том, что в каждой моей груди билось по

два сердца: большое и малое. Вот они. – Я, не прерывая рассказа, скользнул глазом по глянцу карты и подтверждающе наклонил голову. – Мое большое сердце любило маленькую женщину; мое маленькое сердце любило великий народ. И обоим им, большому и малому, было тесно под моей королевской мантией. Они бились друг о друга, мешая друг другу биться. Это беспокоило и мучило меня. Случилось так, что, проездом через королевство Червей, при дворе моем гостил ученый хирург из страны Пик. Однажды я, решившись покончить с своим двусердием, призвал хирурга. Он выслушал меня и мои бьющиеся друг о друга сердца и нахмурился.

– Пиковый интерес, – пробормотал он, прибавив к этому дюжину латинских слов.

– Но нельзя ли оперировать лишнее сердце?

– Которое из них вы, ваше величество, считаете лишним?

Три дня и три бессонных ночи промучился я над словом *которое*. Но, увы, народ, который я любил моим малым сердцем, был где-то там, далеко, за стенами дворца; а женщина, которой я отдал свое большое сердце, была тут, возле, у самых распорившихся сердец, и сумела защитить от ножа то из них, в котором жила она.

На четвертый день я призвал к себе хирурга:

– Пустите в дело ваши инструменты, – приказал я. – Малое в большом я предпочитаю большому в малом.

– Но, ваше величество, учтены ли вами те последствия?..

– Последствия, которые грозят вам в случае послушания



приказу короля, издревле учтены нашими законами. Повинуйтесь, или...

Он вынул свои черные острия, и вскоре я лежал вот на этом столе, ожидая прикосновения скальпеля. Искусной трансекцией он отделил мое малое сердце, бившееся навстречу народу, и положил его к краю операционного стола, вот сюда – где вы его видите и сейчас. Острая боль, полоснув меня по мозгу, оборвала сознание. Когда оно вернулось, я увидел вокруг себя испуганные лица и спину черного доктора, склонившегося над своими закровавившимися черными лезвиями. Обеспокоенный их беспокойством, я попробовал приподнять голову с плоскости операционной доски кверху: мне это почему-то не удавалось. Сиделки, заметившие мою попытку, тотчас же, льстиво и испуганно улыбаясь, стали впереводку просить меня не приподыматься: «Для вас это сейчас невозможно, ваше величество, поостерегитесь, ваше величество».

Им долго, пользуясь моей слабостью, удавалось скрывать от меня истину. Но когда я, почувствовав себя несколько крепче, решился, вопреки уговорам и мольбам, покинуть плоскость операционного стола, мне, после сотни отчаянных попыток, открылась страшная истина: отныне мне никогда не подняться кверху от операционной доски, потому что самое *кверху* оказалось ампутированным вместе с сердцем: правда, моя застарелая запущенная «любовь к народу» окончательно отвязалась от меня... но все-таки, знаете... лучше

бы уж...

Тщетно после этого министры пробовали мне помочь: острая плоскостность перешла в хроническую. Напрасно хирург, в операционную к которому каждый день сваливали шесть-семь из числа моих подданных, вырезая сердце за сердцем, пробовал привить их мне, – ничего не выходило: в результате лишь белые поверхности столов покрывались кровавыми шестерками, семерками, девятками. В конце концов, когда почти весь народ был вырезан, вивисектор тайно бежал и всю эту возню с отрежмериванием плоского пришлось бросить.

Так угасло некогда сильное королевство Червей, а моя слава и власть оттлели и стали снедью червей. Но и тут, в изгнании и умалении, где пышность прежних королевских выходов заменилась простым участием в пасьянсах какого-то профессорствующего дурака (правда – благодаря мне – они у него никогда не выходят), – надежда не покидает меня, о путник. Тут, в плоской коробке для игральных карт, затасованный в трепаную колоду, жду я интервенции. Ведь остались еще монархии на земле. И не могут же они потерпеть, чтобы...

– Ваше величество, – отвечал я, – увы, черви времени не менее искусны, чем ваш черный хирург, и короли, еще королевствующие за пределами вашего бумажного царства, от дня к дню делаются все более и более плоскими, как и вы. Говорят, недалеко то время, когда королям из европейской ко-

лоды, привыкшим к забавной «игре в люди», придется превратиться из тех, которые играют, в тех, которыми играют. Я не язычник, но верю в Немезиду.

Наступило тягостное молчание. Поняв, что случай делает легко осуществимым тот план, который понемногу, еще до встречи с королем, стал отчетливаться в моей голове, я, подойдя к самому уху плоского монарха, зашептал с конфиденциальностью заговорщика:

– Во всяком случае, ваше величество, я обещаю огласить ваши мемуары в печати. Сейчас это единственный способ, доступный нам с вами, чтобы довести ваши слова до слуха тех, которыми вы хотите быть услышаны.

– Выражаем вам свое благоволение. Просите о чем хотите.

– Мне бы хотелось, ваше величество, чтобы прерванный пасьянс удался.

Золотая корона качнулась в знак согласия. Спрятавшись внутрь расщепленного угла одной из карт, я стал ждать дальнейшего. Вскоре раздались шаги возвращающегося профессора. Огромные руки его забегали по картам: я то взмывал на своей бумажной плоскости, как на планере, в воздух, то скользил вместе с нею книзу. Меня обдавало запахом терпентина и табачной гари и трясло меж дрожащих пальцев старика.

Вдруг:

– Ага, а вот и вышло. Душенька, поди посмотри: вышло. А что я загадал, то загадал: гкх-гкх. Ну, теперь карты под

подушку, и все *сбудется*. Ыгкх-ыгкх.

Именно на этом и был построен весь мой расчет: проникнуть к ней на ложе. Когда минуту спустя я, запертый вместе с королем червей внутри тесной и темной коробки, очутился меж матрацем и подушкой, что-то вроде стыда и сожаления забрезжило во мне: история о двух сердцах короля и ее плачевный конец звучали для меня почти угрозой. Мне вспоминалось строгое лицо наставника, беседовавшего всегда лишь с моим «большим сердцем», и я ясно понимал, что сюда, под чужую подушку, я приведен другим, маленьким, похотливо трущимся о ребра сердчишкой. Предчувствие говорило мне: лишь великое сможет вывести меня из моей малости; малое замкнет меня в моем теперешнем бытии накрепко и навсегда. Но мне не дали долго размышлять: внутри коробки, вдруг мягко закачавшейся на матрацных пружинах, стал все сильнее и сильнее проникать смешанный запах терпентина и «Шипра». Кровь ударила мне в голову: быстро вскочив, я побежал к ближайшей стенке футляра и, отыскав замочную щель его, опрометью выпрыгнул наружу.

– Да-да, кстати: у вас под рукой штепсель. Темно: почти как тогда. Включите свет. Так. Теперь вижу: вы улыбаетесь, мой юный друг. Как и я: *сейчас*. Но тогда мне было не до улыбок.

Не успел я добраться до края наволочки, как началось нечто почти апокалиптическое: полотняная почва задерга-

лась подо мной, вздымаясь шумными антиклиналями. Неизмеримо огромные массы тел задвигались с угрожающей силой вокруг меня. Чувствуя себя схваченным каким-то катаклизмом, я тщетно пытался ухватиться за край бельевой пуговицы, на которую меня швырнуло резким и стремительным толчком. Отовсюду меня било горячим ветром и отовсюду же нависали грозящие рухнуть и расплющить меня колоссальные толщи костей и мяса. Очевидно, профессор пробовал осуществить загаданное. Почти обезумев от ужаса и омерзения, то проваливаясь в складки разбушевавшегося полотна, то взлетая кверху вместе с его вздувающейся и хлопающей, как парус под зюйд-остом, тканью, я вдруг с разлету наскочил на какое-то огромное, величиной в слона, движущееся и живое существо. Под прыгающим одеялом было абсолютно темно, – но моя ладонь, тянувшись в тьму, нащупала топорщащиеся твердые круглые чешуи чудовища. При первом же моем прикосновении оно взмыло куда-то вверх. И, представьте, страх, сцепивший мои пальцы вокруг одной из его чешуи, оказался спасительным: вместе с жесткокожим прыгуном я пролетел сквозь душную тьму и вместе с ним же упал книзу. Снова гигантский прыжок, – и тут уж я понял: блоха. Я доверчиво прижался к ее скользкому телу и в два-три перелета был за пределами катаклизма.

Но у наружного края матраца, куда меня вынес мой сказочный конь, пружины продолжали еще кряхтеть и шевелиться. Чуть отдышавшись, я стал спускаться по шелковым

волосинам одеяла, отброшенного катаклизмом в сторону, книзу, стремясь поскорей добраться до половицы. Но резкий запах аммиака, ползший мне навстречу, путал мои дрожание от отвращения пальцы, притом шелк скользил под подошвами, – я сорвался и полетел во тьму. Через миг какие-то гибкие ветви захлестали, точно розгами, по моему телу. Хватаясь руками за их упругий изгиб, я, срывая кожу и ногти, рухнул книзу, что-то мягким обухом ударило меня по затылку, – и сознание во мне погасло.

Не скажу точно, сколько времени длилось мое забытьё. Когда мне удалось наконец открыть глаза, то первое, что я увидел, были стволы какого-то фантастического безлистного леса, причудливо сплетающего надо мной свои комли. При тусклом брезге дня, еле проникавшем сквозь густую заросль, я разглядел, что стволы деревьев были разных цветов – от черного до светло-рыжего. В некоторых местах их толщина была сквозиста, так что сквозь одни стволы можно было смутно разглядеть контуры других. На рыхлой и будто изрытой кротовыми ходами песчано-желтой почве леса не было ни травинки и ни цветка: и даже самый запах этого нового для меня леса говорил не столько о цветах, сколько об обыкновенной дубленой коже. Очарование быстро рассеялось, так как я не мог не понять, что нахожусь не в заколдованном лесу Армиды, «губительницы храбрых», а под волосатым слоем ковровой шкуры, положенной на пол у двуспальной кровати профессорской четы.

И тотчас же я вспомнил все. О, как жгуче я ненавидел тогда *ее*: если б я мог, то растоптал бы *ее*, как гадину, но, увы, от этого ей не было бы даже щекотно. И когда я, поднявшись на локте, попробовал сделать более резкое движение, стало ясно, что мне нельзя мечтать не только о мести, но даже о том, чтобы немедля покинуть шкуру, на которую ведь каждую секунду могла спуститься туфля профессора, плюща меня в ничто. Да, я был слишком неопасным соперником.

Но пока я продолжал неподвижно лежать в чаще шерстистого леса, мысль моя семимильными шагами шагала дальше и дальше.

Абстрагируя ситуацию, я начал с максим, так называемой народной мудрости: что ж, «слоны трутся, комаров давят». Затем от народной мудрости я перешел к мудрости не народной. Мне вспомнился трактат Канта о лиссабонском землетрясении, а также примечательные размышления Аруэ Вольтера на ту же тему. Понемногу силлогизмы выводили меня за пределы узкого, вершкового горизонта, и я, смыв с себя желчь и эгоистическую накипь, стал представлять себе недавнюю катастрофу на матрасе, жертвой которой я чуть не сделался, так сказать, *sub specie aeternitatis*<sup>1</sup>.

Еще Аристотель сказал, медитировал я, что общество – это «большой человек». Допустим, но тогда, значит, я, попавший весьма некстати, меж двух для меня, маленького человечка, несомненно «больших людей», очутился в том по-

---

<sup>1</sup> С точки зрения вечности (*лат.*).

ложении, в котором личности, микрочеловеку, суждено пребывать по отношению к обществу, то есть макрочеловеку. Да, в тот день я чуть не сделался анархистом, мой друг.

Здоровье мое быстро поправлялось, и вскоре можно было перейти от размышлений к действиям. Как только я смог подняться на ноги, я побрел, еще нетвердо ступая, от ствола к стволу, ища выхода из лесу. Но не тут-то было. Как Данте, заблудившийся в лесной чаще, я временами начинал думать, что близок даже не к середине, а к концу моего жизненного пути. И воспоминания, и предчувствия равно мучали мой утомленный мозг. Если б я мог, я бы бросил позади себя порог дома, завлекшего меня, черту города, в обводе которой я жил раньше, границу и берег страны, которой я был рожден и того ранее, – а между тем я, день к дню, бессмысленно блуждал среди унылых безлистных стволов, не в силах будучи выйти за пределы какой-то дурацкой, вонючей, пропыленной, в аршин длиной, мертвой шкуры.

В конце концов мне удалось достигнуть опушки. Я решил, прячась от подошв в половичные щели, добраться до порога профессорской квартиры и вернуться назад, к пузырьку. Но не успел я сделать и десятка шагов, как вдруг увидел новый лес, который, подобно Бирнгэмскому, сам двигался на меня. Я уже хотел было бежать назад, предпочитая неподвижный лес лесу, бегающему на своих корнях, но тот, бесшумно скользя, весь в облаках пыли, уже настиг меня. С ловкостью, выработанной во мне опытом последних дней, я схватился



за одну из его движущихся вершин, – и в то же мгновение мы заскользили, всем лесом, назад, вдоль половичной щели, по направлению моей мысли: к порогу. Лишь когда лес-самобег остановился именно там, где мне было нужно, и я осторожно, по его наклонным вершинам, добрался до порога, – я понял, что выигрышем времени всецело обязан половой щетке, выметавшей меня в обгон мыслям вон из чужой квартиры.

Я оглядел прощальным взглядом мир моих злоключений и готовился перевалить через порог. Но внезапно тихий шуршащий звук привлек мое внимание. Я вслушался: шуршание овнятилось в слова. Правда, иные из них западали, как клавиши разбитого рояля. Считая, что порог за мной обеспечен, я пошел навстречу словам, желая разгадать феномен. Близясь к звуку, я очутился в куче скомканных паутин и сора, вместе с которым я странствовал на щетке. Сначала я не различал говоривших. Затем, вглядевшись сквозь плетение паутин внимательнее, я заметил несколько странных мохнатолапых существ, которые, усевшись чинно в кружок, о чем-то беседовали. Мохнатолапые не замечали меня: двое из них, бывшие ближе всех к моему глазу, сидели, повернув ко мне узкие спины, обросшие серой, под цвет пыли, клочкастой шерстью. Ростом они были несколько ниже моего. Смысл их речей, сразу же заставивший меня притаить дыхание, сделал для меня ясным, что я присутствую на очередном заседании обыкновенных домашних Злыдней.

Еще год тому назад, работая по фольклору, я ознакомился

довольно точно с нравами и обычаями этой мелкой домашней нежити, обычно ютящейся по стенным трещинам комнат и странствующей вместе с домашним сором из угла в угол, с тем, чтобы серой, скучнящей все пылью, пропылиться человеку в глаз и в уши, в мозг и в самые его мысли, делая ему работу неспорой, а жизнь неладной. Это Злыдни, засев внутрь игольного ушка, мешают, вороша мохнатыми лапками, вдеться нитке в иглу; это Злыдни же, пробравшись внутрь уха, умеют зашептать одинокого насмерть. Не могло быть никакого сомнения: сейчас я слышал именно их.

– К порядку дня, – прошушукал старый серо-седой Злыдень, почесав круглым коготком облезлую сутулую спину. – С недавних пор стали поступать донесения, что от хозяина нашего трупом тянет. Значит, быть ему под лопатой. Верный признак. Предлагаю заранее обсудить: как нам быть с вдовой. Ширх, вы только что вернулись из командировки. Были ли вы там, куда вас посылали: удалось ли вам, Ширх, добраться до губ хозяйки и записать ее шепоты. Ведь мысль людей любит прошепываться наружу, и часто так, что и сами они этого не слышат. Итак, доложите собранию, каковы результаты.

В ответ послышался долгий и трудный кашель, после чего докладчик начал:

– Результаты таковы, товарищи Злыдни, что я промочил ноги и простудился. Вот.

Новый припадок кашля задержал на минуту речь.

– Дело в том, что подступы к бабьим ртам, как известно почтенному собранию, трудны – не за что уцепиться: ни волоска. Желая вернее выполнить свою миссию, я пробрался на любимую диванную подушку хозяйки, на которой она не прочь посумерничать, когда остается одна. После двух дней ожидания мне удалось-таки очутиться у самого ее лица, но вышло так, что место, в котором я находился, оказалось под одной из ее бровей. «Плохо», – подумал я, так как знал, что отсюда до верхней ее губы добрый час ходьбы. Надо было не мешкать. Ведь каждую минуту она могла оставить подушку, и тогда ищи, где хочешь, ее бабьих шепотов. Я быстро зашагал, стараясь поспеть вовремя, но тут, как раз когда я продирался сквозь ее ресницы, огромными черными дугами упершиися в золотое шитье подушки, на меня полил сверху соленый дождь. Я ускорял шаги, стараясь поскорее добраться до сухого места, но...

– ...Но вы дошли все-таки до шепота? – перебил нетерпеливо председатель.

– Видите ли, – пробормотал Ширх, – выбравшись на сухое место, я присел на минутку, чтобы переобуться. Только на минутку. Башмаки мои промокли насквозь. А у меня давний ревматизм. Не могу же я ради бабьих слез рисковать своим здоровьем.

– К черту ваше здоровье, – заскрипел председатель, – из-за вашего дурацкого переобувания вы выпустили из своих ушей то, за чем были посланы: слова. Как вы смели, шурший

сын, явиться сюда без единого хозяйкиного слова.

– Ну одно-то я все-таки поймал. Правда, издали и краем уха. И если собранию угодно... – Он стал рыться коготками внутри своего вдруг зашуршавшего бумагами портфеля.

– Мы слушаем.

И среди наступившей мертвой тишины я услышал, как прозвучало *мое имя*.

И через много лет после этого я старался понять, как это могло произойти: Злыдень мог просто недослышать. Может быть, и я не расслышал недослышавшего Злыдня. А может быть... но к чему нам сейчас возиться со всеми этими «может быть». Важно одно: тогда я не усомнился. Радость, острая радость полоснула меня лезвием по сердцу. Вероятно, я даже вскрикнул или сделал резкое движение, потому что Злыдни вдруг замолчали и, пригнув головы к ступням, свернулись круглыми комьями пыли, слившись, до неразличимости, с серой грудой сорин и мусора. О, мой друг, никогда, ни прежде, ни после, я не переживал того чувства прозрачной чистоты и растускленности духа, как здесь, внутри грязной кучи мусора, когда я, идя вслед за моим именем, ласково и печально звавшим меня, повернулся спиной к порогу и спешил, раздвигая канаты паутины, преграждавшие путь, навстречу новым приключениям.

Конечно, лишь завязав глаза логике, можно было решиться на это безумие, но меня влекла та алогичная сила, которая притягивает железную пылинку к магниту и заставляет

камень падать назад к земле.

Я находился на огромном, прикрытом сверху темнотой, квадрате прихожей, из которой расходились врозь три двери (о последнем обстоятельстве я узнал много позже). Тут не было ни восходов, ни заходов солнца, лишь изредка вспыхивало и гасло ввинченное неподвижно в зенит тускло-желтое светило, которое на прежнем своем языке я бы назвал электрической лампочкой. Ориентироваться было очень трудно, и нет ничего удивительного в том, что я спутал двери. Перейдя через один из трех порогов, я стал продвигаться вдоль половицы, не подозревая того, что вместо будуара я попал в лабораторию. Лишь когда вместо милого «Шипра» мне оцарапало ноздри острым запахом ртути и спирта, я понял, что сбился с дороги. В дальнейшем я решил не доверяться моему миллимикронному шагу (о, если бы к моему бедру в те дни привесить педометр, не знаю, хватило ли бы у него в его барабане цифр) и пользоваться по возможности более быстрыми способами передвижения. Сообразив, что старый профессор ходит, и, наверное, регулярно, из будуара в лабораторию и обратно, я решил, подражая бацилле, о которой с таким страхом он однажды говорил, использовать его тело как некое старое, заклепанное судно для дальнейшего рейса.

Но, вспомнив рассуждение Злыдня о подступах и подходах, я подумал, что мне опасно иметь дело с подметками шаркающей руины и что гораздо лучше будет устроиться где-нибудь внутри манжеты, что ли. Но доступ к манжетам

был возможен лишь с плоскости рабочего стола, по которому шарили, ползая меж приборов, бумаги и склянок, волосатые пальцы ученого. Я решил действовать именно так: искусство брать высоту было мне уже знакомо. Не стану описывать, как после двух-трех дней борьбы за вертикаль я наконец очутился на огромном лабораторном столе. Отовсюду сверкали металлические и стеклянные трубы. Взобравшись на край одного громадного сосуда, я увидел себя на крутом металлическом берегу сине-серого овального озера. Сизые ртутные пары клубились над ним; это была ртутная ванна. Сильная головная боль заставила меня искать других мест для прогулок. Вскоре путь мне преградила стеклянная колоссальных размеров труба, вздутая снизу, наподобие того пузырька, который был виновником всех моих приключений. Подняв глаза кверху, я увидел, что стройный вертикальный стеклянный ствол трубы взят в черную и синюю череду делений и цифр: перспектива, умяляющая предметы, помогла мне понять, что это термометр. Справа и слева, в охвате огромных железных колец, виднелись ряды таких же в цифры одетых стеклянных башен с острыми сверкающими шпилями у вершин. Не было никакого сомнения: здесь работали над исследованием температур.

Вначале мне как будто повезло: после двухчасовой погони за пальцами профессора, ползавшими вслед за карандашом по блокноту, мне удалось-таки впрыгнуть на один из волосков и взобраться на бугроватый мизинец экспериментатора.

Но через минуту мизинец, покинув бумагу, стал кружить, вместе со всей пятерней, над торчащей снизу, из железного обода, стеклянной трубой термометра. Любопытство подтолкнуло меня, – цепляясь за бугры кожи, я пробрался поближе к верхушке термометра: на ней не было стеклянного шпиля («Не запаян», – мелькнуло в мозгу), – и, свесившись с ближайшего к стеклу волоска, я мог видеть раскрывшуюся подо мной длинную дыру стеклянного колодца, над которым я наклонился, качаясь на волоске. В ту минуту мне и в голову не могло прийти, что испугнутые мною Злыдни следят за вторгшимся в их дом существом и что один из них тут же, в трех шагах за моей спиной. И прежде чем я успел осознать опасность, что-то мохнатое прыгнуло мне на спину, вонзившись круглым когтем в кисть руки, охватывавшей волос. Застонав от боли, я попробовал стряхнуть с себя мохнатолапое что-то, цепко охватившее меня сзади. Но от этого волос, на котором повисли мы оба, качнуло еще сильнее, а коготь, разрывая мне рану, делал боль нестерпимой. Слабея, я разжал руку и полетел вниз в раскрытое жерло стеклянного колодца. Жгучая влага залепила мне рот, глаза и уши, но, все еще не теряя сознания, я, нырнув раз и другой, всплыл на поверхность, тщетно цепляясь руками за скользкие стенки. Но влага сама держала мое легкое тело полупогруженным, и вскоре, прислонив спину к стене колодца, я отыскал позу, дающую мне хотя бы подобие отдыха. Рана моя почти мгновенно стянулась, не кровоточа, а два-три глотка той жидкости,

поверх которой я всплыл поплаватком, наполнили мою голову вопреки всему случившемуся радостным шумом, а мускулы – жаждою борьбы: термометр, очевидно, был спиртовой.

Однако, когда первое действие спирта кончилось и возбуждение упало, я начал чувствовать признаки тоски и страха. Но естественная сонливость, приходящая вслед опьянению, спутала все в моей голове, и я крепко заснул, ногами в спирт, головой в стекло.

Открыв глаза, я увидел: дыра, зиявшая сверху, была остеклена. Я оставался совершенно один, в наглухо запаянном термометре. Выход в жизнь мне, пылиночному человечку, был невозможен: замурованный навсегда в стекле, я должен был ждать лишь одного – смерти.

Однако смерть не приходила: казалось бы, остекленная пустота с выкачанным воздухом должна бы быстро отнять дыхание, а там и жизнь. Но, очевидно, желтая тинктура придавала моему телу особую, повышенную смертеупорность. Я и раньше удивлялся своей способности подолгу оставаться без пищи, выдерживать сильные толчки, а главное, той несоизмеримой моему теперешнему росту силе, которая позволяла мне преодолевать, казалось бы, и непреодолимые препятствия. Сейчас все это лишь затягивало борьбу, не давая ни малейшей надежды на успех. Злыдни, в дела которых вздумал было я вмешаться, ликвидировали меня: будь я еще там, у тонкого стеклянного шпиля термометра, я мог бы еще надеяться проломать тонкую стеклянную крышку тюрьмы, но



здесь, внизу, среди толстых прозрачных стен, я был похож на муху, безнадежно бьющую крылышками об оконное стекло. Да, черная десятка точно предсказала мне мою судьбу. Мир был близко, тут, за стеклянной стеной, но я навсегда был отрезан от него и исключен из бытия. С мучительной ясностью я вспоминал образ женщины, завлекшей меня сюда, внутрь остекленной пустоты, и страстная жажда вернуться в тот мир, где *она*, овладевала мною: я бился головой о стеклянные стены термометра, прильнув к ним лбом, искал глазами среди маячащих из-за стен контуров очертание ее, – но у глаз алела лишь обратным выгибом цифра 18. Термометр стоял на восемнадцати.

Однажды поутру, глянув на стекло, я увидел, что восемнадцать выросло в двадцать. Не прошло и часу, как двадцать поползло куда-то книзу, а сверху надвинулось двадцать один, потом двадцать два. Лифт пришел в движение и медленно подымал меня кверху. Теперь, вглядываясь в стеклянный купол своего колодца, я заметил, что он значительно ближе. Поднявшись еще на два-три деления, я увидел широкую царапину, ползшую зигзагами по внутренней поверхности стеклянного колодца к месту запайки. Правда, от нижнего края царапины, представлявшей мне довольно глубокой рытвиной, меня отделяло еще семь или восемь цифр, чередой подымавшихся по наружным стенкам термометра, – но тотчас же план освобождения, если только оно было возможно, стал ясен сознанию: ждать, пока температура не подымет

до царапины, а там, цепляясь за ее края, ползти вверх по зигзагам к хрупкому и тонкому куполу, проломать его, и...

Сердце расстучалось во мне от волнения. Я торопил медлительные цифры. По ночам я не спал, стараясь и сквозь темное стекло угадать смену их красных контуров. До края царапины оставалось лишь два деления. Но когда я, дождавшись рассвета следующего дня, готовый начать свой путь к свободе, взглянул наружу, то увидел у самых глаз очертание оставленной позади цифры: термометр опускался. Очевидно, период поздних летних жар закончился, там, за стеклом, был уже август, – и сейчас, видя, как зигзагообразная рытвина медленно уползает кверху, я в отчаянии думал, что раньше весны мне никак не добраться до ее края.

Но судьба продолжала дразнить меня: не прошло и нескольких дней, как контуры предметов за стеклом изменились. Вокруг меня заползали длинные тени, термометр раз и другой сильно качнуло, и мое тело, опустившееся было до цифры четырнадцать, вдруг быстро стало подниматься от цифры к цифре вверх: очевидно, мы с термометром участвовали в каких-то опытах по термодинамике. Следя за сменой цифр, я чувствовал себя, как путешественник, который после долгих странствий возвращается на родину и, глядя сквозь стекло вагона на плывущие мимо глаз названия станций и полустанков, ждет последней пересадки, обещающей ему близкий отдых и радость встреч.

Я видел ее, дразнящую своим уползающим вверх зигза-

гом, проклятую рытвину, видел почти у глаз: еще толчок, еще одна калория, и я бы дотянулся пальцами до ее края, и тогда... но спасающая черта снова стала отдаляться. Сдерживая накапливавшееся во мне бешенство, я успокаивал себя, говоря, что опыты еще будут повторены, что еще не раз старый профессор будет меня гонять по вертикали вверх и вниз, пока я не достигну-таки, рано или поздно, нужной мне черты.

Но опыты не повторились. И странно: самые движения контуров и теней, окружавших меня ранее, почему-то прекратились. Я долго ломал себе голову, стараясь понять причину внезапной обездвиженности мира за стеклом, пока одна фраза из разговора Злыдней, всплыв как-то в памяти, не дала более или менее вероятного объяснения происходящему. Наверное, профессор серьезно заболел и работа в лаборатории остановилась. Тысячи предположений, одно другого мрачнее, закопошились в моем мозгу: если *она*, – думалось мне, сделается свободной, то как захочет она использовать свою свободу? И нужно ли мне, здесь, в стеклянном мешке, ждать освобождения от весеннего тепла: весны делают свое дело не только внутри стеклянных трубок, но и внутри артерий и вен; она юна, нас ничего не связывает, кроме десятка случайных встреч на лестнице и у подъезда, мы не сказали друг другу ни единого слова, кроме того, которое украли у нее Злыдни, – и на что могу рассчитывать я, человек внутри стеклянной пустоты.

Нервы мои были натянуты до последней степени. И когда однажды, глянув сквозь толщу стекла, я увидел одного из Злыдней, который, уцепившись снаружи за слой краски, из которой была сделана цифра, с злорадным любопытством разглядывал меня, диковинное существо, изловленное ими в стеклянную клетку, я не выдержал и закричал от стыда и гнева, но крика не получилось: безвоздушная пустота убила его прежде рождения, и я бессильно и беззвучно бился внутри своего колодца.

Только теперь я догадался, почему контуры и тени, отмаячившие вокруг меня, все время были беззвучны: приди сейчас *она* и повтори мне *то* слово, я, включенный в безвоздушье, не мог бы услышать его. Я дошел до той черной черты, дальше которой нельзя. Меня жалили мысли, и я решил вырвать им их жало: не видя иного способа, я стал пить. Ведь я плавал поверх спирта: стоило мне лишь нагнуться, и после десятка глотков в голову всачивалась муть, мысли качались и тухли. Сознание, перед тем как погаснуть, вспыхивало причудливыми грезами и фантазиями: самый запах спирта преображался в тонкое благоухание «Шипра» и по мерцающему стеклу прозрачной темницы, как в сказке Андерсена, ползали скользкие и пестрые сны.

Проснувшись с головной болью, я оглядывал все тот же обездвиженный и обеззвученный мир вокруг меня и снова гасил сознание спиртом: вскоре можно было заметить, что я, говоря без всяких метафор, *опускаюсь*: деление за деле-

нием, цифра за цифрой. Видя уходящий, с каждым днем все дальше и дальше от глаз потолок, понимая, что жажда моя, делавшаяся неутолимее от дня к дню, тянет меня к дну и отнимает единственный шанс, я пробовал бороться с нею и не мог: спирт убывал, и вместе с ним опускался книзу и я. Внутри своего безвоздушия я не слышал, как отпевали старика профессора, и с пьяных глаз не уловил момента, вероятно, внезапно возникшей вокруг меня похоронной суетни и движения: я уже успел привыкнуть к тому, что алкоголь раскачивал и шевелил контуры и тени, в которые был впутан я, и утратил грань между реальным и нереальным. Поэтому я не сразу осознал, что произошло, когда меня вдруг ударило звуком о слух и сильно и резко швырнуло в сторону. Привычным движением я потянулся к стенке, но вместо стенок была пустота. Сразу же, отряхнув с себя хмель, я недоуменно огляделся по сторонам: ни справа, ни слева, ни сверху стекла не было; я стоял, ясно чувствуя опору под собой, по грудь в луже спирта, неподалеку же сверкала огромная глыба битого стекла, а об уши бился чей-то грузный удаляющийся шаг. Как я узнал впоследствии, термометр, в котором я провел шесть месяцев сряду, был разбит случайно во время той обычной уборки и перестановки вещей, которая происходит после похорон, когда нужно как-то по-новому заполнить пустоту, оставленную той вещью, которую вынесли, запрятав в гроб, прочь из привычного сцепления вещей и тел с вещами и телами.

Но в самый момент освобождения я мало был склонен к размышлению о причинах и следствиях: неожиданно брошенный из смерти в жизнь, я с трудом верил своему счастью, — и, боясь, что стеклянный мешок снова сомкнется вокруг меня, я то шел, то бежал, боясь, что смерть возобновит свою погоню.

Теперь я точно знал, куда иду: к склянке и к знаку. Я уже видел себя в своем прежнем большем теле, я уже видел мои встречи с нею, но по пути мне все же надо было опасаться ее подошв; попади я сейчас, до преобразования, под одну из них, и меня бы вывели вместе с сором и пылью вон, не удостоив даже тех торжественных обрядов, какие были применены к праху старого профессора.

В дальнейшем возвратный мой путь был довольно благополучен: достигнув порога, я очутился на лестнице. Ступеньки ее были для меня опасны: я стал спускаться по железной штанге, скрепляющей их сбоку; ее ровный наклон и скользкая поверхность позволили мне сократить время путешествия, спускаясь по ней сверху, как по ледяной горе. Раньше, чем я мог рассчитывать, я был у двери, вводящей в мою комнату. Добраться до замочной скважины было чрезвычайно трудно. После двух-трех неудачных попыток я стал искать иной лазейки: вскоре узкая щель меж порогом и дверью помогла мне, правда, с трудом, но протиснуться в свое старое обиталище. Затем два дня форсированного марша вдоль хорошо знакомой мне половицы, и я снова стоял у стеклянно-

го туннеля-склянки. Помню, у самого входа в стеклянный колодезь склянки, как ни жадно стремился я к ней, я на минуту задержал шаги: после всего, что произошло, я боялся входить внутрь стекла; мне казалось, что я могу быть опять изловлен в стеклянный мешок. Но, преодолев пустой страх, я, конечно, достиг магического знака и коснулся его; в тот же миг будто что взорвалось в моем теле: разбухая со страшной силой, оно заполнило всю полость туннеля; стеклянные стены его хрустнули, как скорлупа яйца; а тело, все разбухая и разбухая, возвратило меня в мою прежнюю меру и в старое пространство.

Я сделал шаг-другой к двери, в одну секунду свершая труд моего прежнего страннического дня, – и вдруг услышал топот подошв и шум голосов за доской двери. В первый момент близкий звук подошв заставил меня инстинктивно скорчиться и искать укрытия, чтобы не быть раздавленным. Но, вспомнив, что превращение уже позади, я громко засмеялся и, отыскав ключ, подошел к двери. За дверью как-то тревожно, почти испуганно, зашептали. Помедля минуту, я вдел ключ в замочную скважину, но, странно, – бородака его встретилась с бородачкой другого ключа, одновременно сунувшегося в скважину снаружи. Столкнувшись, оба ключа тотчас же выдернулись обратно.

– Кто там? – спросили нетвердым голосом.

Я спокойно назвал себя. И тотчас же я услышал шум убегающих подошв. Недоумевая, я вложил ключ в опроставшу-

юся скважину и отщелкнул замок. Что-то мешало снаружи открыть мне дверь: я дернул сильнее, дверь распахнулась, а у ног моих на обрывках веревки лежала сломанная сургучная печать. Очевидно, комната моя, в месяцы безвестного отсутствия, была опечатана, и комиссии, пришедшей вскрыть ее, довелось встретиться с безвестно отсутствующим, проникшим в свою комнату сквозь опечатанную дверь. Мои прежние серьезные занятия обеими магиями не создали мне ореола, но достаточно было одного глупейшего случая со стальными бородками, ткнувшимися друг в друга, чтобы создать мне славу новоявленного Калиостро. Да, мой милый, люди никогда не умели отличить мистерии от фокус-покуса.



## II

Когда я днем позже встретился с той, с которой потерял было надежду встреч, мы обменялись улыбками и поклоном. Ее лицо было обернуто в складки крепа, под ногами стлался скрипучий мерзлый снег, но во мне, обгоняя медленные календарные листы, уже наступала весна. И когда из-под оттаивших булыжин города поползла, тискаясь в щели, анемичная желто-зеленая травка, а синие стебли уличных термометров тоже стали длинниться навстречу солнцу, – и я и она, мы перестали прятать друг от друга те простые, но вечные слова, которые по весне вместе с почками, зябко втиснувшимися в ветви, прорывая тусклую кожуру, лопаются и раскрываются наружу, в мир.

Скоро я стал частым гостем в стране моих долгих и трудных странствий. Мы не стали выжидать, пока черви, как полагается, доедят профессора, – и отделились друг другу. Счастливую развязку ускорило и то интригующее мою возлюбленную всезнание, которое я обнаружил, рассказывая ей в первых же наших беседах о всех интимнейших деталях ее жизни, которые знали лишь она, Злыдни да я. Многие во мне пугало ее и казалось странным, но таинственность и страх верные союзники на пути к женскому сердцу.

Время быстро катило вперед, и часовая стрелка, высунувшись из его кибитки, задевала о дни с той же быстротой, с ка-

кой шпага Мюнхгаузена стучала при тех же обстоятельствах о верстовые столбы. Сначала я отдавал любимой женщине все досуги; потом досугов не хватило – я стал красть для нее время у рабочих дней. Учитель мой хмурился.

– Предупреждаю вас, – сказал он мне однажды, – если история о двух сердцах, которую открыла вам моя желтая тинктура, ничему вас не научила, – мне придется прибегнуть к склянке с синими каплями. Сила стяжения, скрытая в них, много больше. Но и испытание, и путь, таимые в ней, труднее и жестче.

Я не донес с собой слов учителя дальше порога. И так как я обронил слова, то вскоре мне предстояло получить пузырьек, полный притягивающих, но страшных возможностей.

Тем временем солнечно-ясный мирок, в котором я продолжал жить, стал мутнеть и блекнуть, и любовь моя день ото дня становилась все тревожнее и печальнее. Глаза подружки глядели уже не так и были уже не те. К ясному звуку ее голоса примешались какие-то мучающие обертона, к меду – полынь, а к вере – подозрение и ревность. Иногда я видел в руках ее какие-то узкие конверты, инстинктивно отдергивающиеся от моего взгляда; иной раз, придя раньше условленного часа, я не заставал ее дома; раз или два, во время внезапной встречи с ней на улице, я подметил выражение досады и испуга, скользнувшее по ее лицу. Объяснения ее были как-то спутаны и гневно возбуждены. Мне отвратительны нелепые сцены или хотя бы расспросы: я молчал, но се-

рая паутина подозрений оплеталась вокруг меня все цепче и цепче, и какие-то пыльные дробные мысли топтались на серой корке мозга.

«Кто знает, – говорил я себе, – если Злыдни столкнули меня тогда в пустоту, то не они ли толкнули под руку того, кто ее уронил и тем раскрыл для меня мою прозрачную тюрьму?» Да, я чувствовал, как серые мохнатолапые Злыдни заворошились во мне, полня собою мои глаза и уши, – и я стал думать, что только им, неприметным, ведомы все те неприметности, которые, оседая серыми пылинными слоями, мучили меня и не давали мне жить. Я – существо, вернувшееся в свое неповоротливое и огромное тело, – потерял сейчас власть над ускользающей от касания и видения неприметностью, в которой и пряталось то мучащее меня *что-то*, которое превращало все «да» в «нет», все «ты» в «он».

«Что ж, – размышлял я, – может быть, опять предпринять путешествие к Злыдням? Они знают. Но захотят ли они сказать? И чему больше верить – нежитям или жизням: моей и ее?»

Помню, эта мысль впервые затлела во мне в одни из сумерек, когда я, – что теперь все чаще и чаще случалось, – сидел в будуаре, дожидаясь знакомых легких шагов. Но она все не приходила.

Помню, в нетерпении я поднялся и зашагал из угла в угол: под подошвы мне то и дело попадалась мягкая шкура, глушащая шаги. Вдруг я остановился, помню и это ясно, и,

став на колени, долго и пристально рассматривал рыже-бурую шкуру, вороша ее шерсть меж пальцев. Воспоминания вдруг хлынули на меня – и я, день за днем, час за часом, с лицом, наклоненным над густой щетиной ковра, повторял труды и мысли оставленного позади пути.

– Опять заблудился, – прошептал я и поднялся с колен. Новый путь звал меня. Наутро я получил от учителя синюю тинктуру. Оставалось лишь сделать некоторые приготовления и довериться будущему, ждущему меня под притертой пробкой еще невскрытой склянки. От неизвестности, всочившейся в меня, я бежал в неизвестность, запрятанную внутрь синих капель. Настало время: сменить стук сердца на стук шагов.

Мой второй старт состоялся в один из дней ранней осени. За окном ветер рвал и комкал листья и швырял пылью в окна. Я не застал ее – женщины, которую любил: это, конечно, несколько меня не удивило. В прощаниях я не нуждался.

На привычном месте, у края будуарного столика, лежали ее любимые, старинной работы, часики. Сегодня она забыла и их.

С минуту я слушал звонкое тиканье, напоминавшее нечто мерный и дробный шаг, а потом подумал: пора. Сняв одутлое хрупкое стеклышко с циферблатных цифр, я выпилил тонким напильником, припасенным заранее, еле заметную треугольную выемку в край стекла. Затем вставил его обратно. Теперь для меня имелись проломные воротца, вводящие

на белую поверхность циферблата.

План мой был прост: зная, что женщина, одиночество которой я хотел изучить, редко когда расстается с этим вот металлическим, тихо тикающим существом и часто ищет своих условленных минут и сроков у остриев шевелящихся стрелок дискообразного существа, я решил поселиться на скользкой эмалевой коже его циферблата и сквозь прозрачный купол наблюдать за всем происходящим.

Проделав операцию, сплющившую меня в существо много меньше Злыдня, я без труда отыскал треугольную лазейку. Когда я вступал на край циферблата, часовая стрелка, против острия которой я впилил свой импровизированный вход, успела отползти относительно недалеко, и, повернувшись влево, я мог ясно видеть ее, черным и длинным висячим мостом протянувшуюся над головой. Металлический пульс, резонируя о стеклянную навись высоко вверх уходящего свода, с оглушительным звоном бился о мои уши. Сначала огромный белый диск, по которому я шел, направляясь к центру, сразу же мне почему-то напомнивший дно круглого лунного кратера, – долгое время казался мне необитаемым. Но вскоре мной овладело то ощущение, какое испытывает путник, проходящий, во время горного подъема, сквозь движущиеся, смутно видимые и почти неосязаемые облака. Лишь после довольно длительного опыта и я стал различать те странные, совершенно прозрачные, струящиеся существа, которые продергивались мимо и сквозь меня, как

вода сквозь фильтр. Но вскоре я все же научился улавливать глазом извивы их тел и даже заметил: все они, и длинные, и короткие, кончались острым, чуть закорюченным, стеклесто-прозрачным жалом. Только пристальное изучение циферблатной фауны привело меня к заключению, что существа, копошившиеся под часовым стеклышком, были *бациллами времени*.

Бациллы времени, как я вскоре в этом убедился, множились с каждым дергающимся движением часовой, минутной и даже секундной стрелки. Юркие и крохотные Секунды жили, облепив секундную стрелку, как воробьи ветвь орешника. На длинной черной насести минутной стрелы сидели, поджав под себя свои жала, Минуты, а на медлительной часовой стреле, обвив свои длинные, членистые, как у солитера, тела вокруг ее черных стальных арабесков, сонно качались Часы. От стрел, больших и малых, отряхиваемые их толчками, бациллы времени расползались кто куда: легко проникая сквозь тончайшие поры, они вселялись в окружающих циферблат людей, животных и даже некоторые неодушевленные предметы: особенно они любили книги, письма и картины. Пробравшись в человека, бациллы времени пускали в дело свои жала: и жертва, в которую они ввели токсин длительностей, неизбежно заболела Временем. Те из живых, на которых опадали рои Секунд, невидимо искусывающие их, как оводы, кружащие над потной лошастью, – жили раздерганной, рваной на секунды жизнью, суетливо и загнан-

но. Те же... но воображение вам, мой друг, доскажет лучше моего.

До своих блужданий по циферблатной стране я представлял себе, что понятия порядка и времени неотделимы друг от друга: живой опыт опрокинул эту фикцию, придуманную метафизиками и часовщиками. На самом деле сумбура тут было больше, чем порядка! Правда, почти каждая, скажем, Секунда, вонзив в мозг человеку жало на глубину, равную себе самой, тотчас же выдергивалась из укушенного и возвращалась назад под циферблатное стекло доживать свой век в полной праздности и покое. Но случалось иногда, что бациллы времени, выполнив свое назначение, не уступали места новым роям, прилетевшим им на смену, и продолжали паразитировать на мозге и мыслях человека, растравляя пустым жалом – свои старые укусы. Этим несчастным плохо пришлось в дни недавней революции: в них не было... м-м... *иммунитета времени*.

О да, мой друг, уже несколько лет спустя, работая в своей лаборатории, я положил много труда, стараясь, подобно Шарко, изготовившему свою противочумную сыворотку, дать страждущему человечеству *прививку от времени*. Мне проблема не далась: значит ли это, что она не дастся и другим?

Мой первоначальный план пришлось в корне изменить: то, чего я искал за стеклом, оказалось тут, под стеклом. Все прошлое моей возлюбленной, правда, разорванное на мгно-

вения, ползало и роилось вокруг меня.

Как-то случайно, изловив одну из юрких Секунд, я, несмотря на ее злобное цоканье и тиканье, крепко сжал ее меж ладоней, всматриваясь внутрь ее бешено извивавшегося тела, – и вдруг на прозрачных извивах Секунды стали проступать какие-то контуры и краски, а цокающий писк ее вдруг превратился в нежный звук давно знакомого и милого – милого голоса, прошептавшего тихо, но внятно мое имя. Я вздрогнул от неожиданности и чуть не выпустил из рук изловленного мгновения: несомненно, это была та выслеженная Злыднями Секунда, которая вела меня, уже несколько дней кряду, и сквозь радость, и сквозь страдание. Теперь она была в моих руках: отыскав тонкий и гибкий волосок, я стянул его петлю вокруг бессильно шевелящегося жала Секунды и стал водить ее всюду за собой, как водят комнатных мопсов или болонок.

Дальнейшая моя охота за бациллами времени только подтверждала феномен: очевидно, бациллы длительностей, введя в человека время, вбирали в себя из человека в свои ставшие полыми железки *содержания времени*, то есть движения, слова, мысли, – и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны и отгрудившиеся рабочие.

Однако, если я наблюдал и изучал эти странные существа, то и сам я, в свою очередь, подвергся слежке с их стороны. Мои несколько хищнические повадки, конечно, не мог-



ли им особенно нравиться. Раздражение, вселенное мною в аборигенов циферблатной страны, от дня к дню возрастало и ширилось. Особенно опасным оказалось для меня то обстоятельство, что среди роя отделившихся длительностей оказалось несколько мигнов, еще задолго до этого сильно пострадавших от меня и давно уже сеявших недобрые слухи о непрошеном пришельце. Дело в том, что еще под действием желтой тинктуры мое тело, как вы, вероятно, помните, так быстро и внезапно сплющилось и стянулось в малый комок, что бациллы времени, ютившиеся в моих порах, внезапно были ущемлены и с трудом могли выползти наружу. Эти-то инвалиды и обвиняли меня в злонамеренном покушении на их жизнь. Так как я плохо еще понимал металлически цокающие и тикающие звуки бациллового языка, то и не мог вовремя предупредить опасность, тем более что самое время восстало тут против меня.

Началось с того, что те самые крохотные по размерам бациллы длительностей, какие сейчас, при всем моем умалении, обитали внутри меня, под давлением общего настроения решили бойкотировать меня, и на некоторое время я остался *без времени*. Мне не сыскать слов, чтобы хотя мутно и путано передать испытанное мною тогда чувство безвременности: вы, вероятно, читали о том, как отрок Якоби, случайно ударившись мыслью о восемь книжных значков Ewigkeit<sup>2</sup>, испытал нечто, приведшее его к глубокому об-

---

<sup>2</sup> Вечность (нем.).

мороку и длительной прострации, охватившей вернувшееся вспять сознание. Скажу одно: мне пришлось вынести удар не символа, а того, что им означено, войти не в слово, а в суть.

Бациллы времени вернулись в меня, но лишь затем, чтобы подвергнуть мучительнейшей из пыток: *пытке длительностями*. Включенный опять во время, я, раскрыв глаза, увидел себя привязанным к заостренному концу секундной стрелки: мои руки, мучительно выгнутые назад, терлись о заднее лезвие движущейся стрелы, переднее же ее лезвие, вонзаясь мне в спину, сильными и короткими толчками гнало меня по делениям секундного круга. Вначале я бежал что есть мочи, стараясь предупредить удары лезвием о спину. После двух-трех кругов я ослабел и, истекая кровью, с полупотухающим сознанием, свис со стрелы, которая продолжала меня тащить вдоль мелькавших снизу делений и цифр. Но страшная боль от копошащегося в теле лезвия заставляла меня, собрав силы, опять бежать вдоль вечного круга среди злорадно раскокавшихся и издевающихся надо мной Секунд. Во время Гражданской войны мне довелось как-то мельком видеть, как конный осетин, закинув аркан на тонконового жеребенка, тащил его за собой: животное не поспевало за натянувшимся канатом, тонкие и слабые ноги его путались и подгибались, но веревочная петля тянула его спиной и брюхом по камням шоссе и заставляла бежать и падать, падать и вновь бежать на искалеченных и дрожащих ногах.

Пытка продолжалась без перерыва: и я знал, что моя воз-

любленная, оставшаяся там, за стеклом, каждый день заводит свои часики, толкающие лезвия, к которым я был привязан, все снова и снова вперед. Однажды, во время моего кровавого пути, какая-то легкая движущаяся тень прохладными черными пальцами прикоснулась к моей исключенной и потной голове. Я поднял глаза: прямо надо мной медленно плыла огромным, плашмя занесенным надо мною мечом стрела, указующая часы. И вдруг среди отвратительно цокающих бацилл я услышал тихий шуршащий голос, заговоривший со мной по-латыни:

– *Omnia vulnerant, ultima necat*<sup>3</sup>.

Всмотревшись по направлению звука, я увидел у самого края повисшей надо мной стрелы привязанное, как и я, прозрачно-серое, кристаллической формы существо, сочувственно мне замерцавшее своими живыми гранями. Я было хотел ответить, но неумолимая секундная стрелка уводила меня куда-то в сторону от неожиданного собеседника, и когда, протащив меня по кругу, она вернулась к прежнему делению, острия наших стрел уже развело и дальнейшая конфиденциальная беседа была невозможна. Но слова сочувствия, оброненные незнакомцем, придали мне силы – бороться и жить. До новой встречи с часовой стрелкой мне предстояло семьсот двадцать полных кругов, и каждый круг стоил доброй Голгофы.

---

<sup>3</sup> Надпись над секундными делениями старинных цюрихских часов: «Все ранят, последняя убивает».

Рассказ кварцевого человечка, с которым нас сводили лишь на минуту-другую наши пересекающиеся пути, чтобы тотчас же на бесконечно долгие часы развести врозь, сложился постепенно, сросся из малых кусков, как мозаика из разных камешков. Вот он:

– В это циферблатное захоlustье я попал, как и вы: властью судьбы. Бесполезно пытаться разгадать ее загадки. Много веков тому назад мне довелось жить в ином, родном моей песочной природе, мире. Это не был глупый и плоский циферблат, о нет, вместе с толпами других песчин, общительно и доверчиво тершихся друг о друга, я был вселен в прекрасный из двух сросшихся вершинами стеклянных конусов сотворенный мир. – Мой новый знакомец говорил чуть витиевато, притом я слабо разбирался в латинской фразеологии и потому не сразу понял, что речь идет о песочных часах. – Вначале я находился в верхнем конусе. Там было шумно, весело и юно. В нас жили души грядущего. Мы, несвершившиеся миги, толкаясь гранями о грани, с веселым шуршанием проталкивались к узкому часовому устьюцу, отсчитывающему бег *настоящего*. Каждому из нас хотелось скорей пролезть в это настоящее и прыгнуть, в обгон другим, в его узкую, схваченную стеклом дыру. Стремление *онастоящиться* охватило меня с непреодолимой силой: опадая вместе со слоями других, пробующих обогнать меня песчинок, я, пользуясь отточенностью своих граней и относительно тяжелым весом, царапая и расталкивая соперников, довольно

быстро протискался к яме. Скользя меж двух-трех напрасно пытавшихся мне преградить дорогу бегунов, я прыгнул в вдруг разверзшуюся подо мной пустоту. Правда, в последнее мгновение какой-то страх схватил меня за грани, но было уже поздно: сверху давила масса бегущих вдогонку мне песчин, а скользкое стекло толкало внутрь новой конусом раскрывшейся остекленной пустоты. И, пролетев через нее, я больно ударился о верхний слой песчин, с трупной неподвижностью устилавших дно запрокинутого вершиной кверху конуса. Я пробовал было пошевелиться, мне хотелось назад, в тот верхний полумир, из которого я, одержимый безумием, бежал сюда, на кладбище отдоившихся миггов. Но я не мог сделать ни малейшего движения: пути, связывающие меня сейчас, ничто в сравнении с той обездвиженностью и конченостью, какие овладели мною тогда. Лежа, с гранями, недвижимо втиснувшимися меж граней других падших миггов, я видел, как новые и новые их слои все глубже и глубже погребали меня среди заживо мертвых.

Казалось, все было кончено, – вдруг резкий толчок опрокинул все наше кладбище дном кверху, и мы, отдоившиеся длительности, вывалившись из вздыбившихся могил, снова ринулись в жизнь. Очевидно, произошла какая-то космическая катастрофа, опрокинувшая бытие и заставившая отлеванное и незатлеванное, *прошлое* и *грядущее*, обменяться местами. О да, тот двудонный мир, который мне пришлось променять на вот эту глупую черную насесть, мог то, чего иным

мирам не дано. И если бы...

Тут я прервал говорившего. Механизм часов не раз разлучал наши слова. Я боялся, что мне не хватит биений сердца до новой встречи: надо было торопиться.

– Мне все равно, – сказал я, – пусть ваша вселенная лишь простые песочные часы. Я хочу быть там, где прошлое умеет превращаться в грядущее. Бежим. Бежим в вашу двудонную родину, в страну странствующих от дна к дну. Потому что я – человек без грядущего.

Пока я говорил, лезвие стрелы успело увести меня так далеко от собеседника, что я не мог слышать его ответного шуршания. Кричать было опасно: вокруг сновали бациллы времени. Я замолчал и, напрягая последнюю волю и последние силы, продолжал свой бег, кровавая циферблат израненными ступнями. Я потерял счет черным делениям круга, бегущим мне навстречу. В глазах у меня плыла кровавая муть, и казалось, что сердце бьется на истонченной, готовой вот-вот оборваться нити. «Конец», – подумал я в предсмертной истоме и вдруг увидел себя распростертым вдоль черных делений круга, с руками, свободно распластанными по эмали. Что-то серое и острогранное, ласково шурша, возилось около меня, стараясь оттащить меня в сторону от черных черт.

– Скорей, – прошуршало над ухом, – через полминуты стрелка вернется. Мужайтесь. Держитесь вот за эту грань: так. Идем.

И мой спаситель, переваливаясь, как танк, с грани на

грань, тащил меня к циферблатному центру.

Понемногу я стал приходить в себя и мог, хотя и с большим трудом, идти без посторонней помощи. Из двух-трех торопливых фраз, брошенных спутником, я узнал, что острые грани его кварцевого тела помогли ему перерезать пути и что сейчас нам надо спрятаться от возможной погоны внутрь часового механизма. Когда я сообщил спутнику о треугольной лазейке у края циферблата, он было заколебался, но, когда мы повернули назад, было уже поздно: длинные цепи прозрачных бацилл ползали по белому циферблатному полю, стараясь охватить нас в кольцо. Я видел, как злобно ворошились их жала и как тела их, неслышно изгибаясь, не оставляя ни тени, ни отражения внутри стеклистого диска, с каждым извивом были все ближе и ближе.

– В механизм. Больше некуда, – проскрипел спутник, злобно ворочая кремнистыми ребрами.

– Но как?

– Хронометр стар; трением оси размолло эмаль: попробуем протиснуться.

Для меня это было не слишком трудно. Но моему танковидному спутнику пришлось долго хрустеть своими ломкими гранями, прежде чем околоосевая щель была взята, и мы оба, цепляясь за зубья и винты, стали осторожно нырять внутрь движущейся тьмы часового механизма. Сначала наши глаза ничего не различали: потом смутное алое свечение помогло нам различить какие-то очертания и контуры сталь-

ных выступов, шумно трущихся и со звоном ударяющихся друг о друга. Это был свет, сочащийся из самоцветного тела рубинов, вправленных в сталь: их призрачная флюоресценция вела нас своими дрожащими алыми бликами с зубца на зубец, часто спасая от их страшных ударов, протянувшихся из темноты.

– Ну, эти плоскохвостки сюда не посмеют, – презрительно выкрипела песчинка. – Только и умеют, что ползать вслед за своими стрелками, а в двудонность ни-ни. И подумать, – добрюзжал он недовольными осыпающимися словами, – до чего дожили: время и то приплющено к диску.

Я не разделял философских взглядов моего древнеримского друга: но сейчас меня интересовала не метафизика времени, а вопрос о том, как нам выбраться из-под наглухо защелкнутой задней крышки часов. Сев под шевелящимися красными лучами рубина, мы долго дискутировали на эту тему. Я предлагал, выждав время, все-таки попробовать, вернувшись на циферблат, прокрасться к лазейке. Но мой друг не желал вторично рисковать своими ребрами и предлагал более замысловатый проект:

– Отчего бы нам не попытаться остановить часы? Ведь стоит выдернуть волосок, движущий вот это все, что вокруг, и нас, вместе со всей этой стальной неразберихой, отдадут в починку: крышка отщелкнется и откроет путь.

И мы пошли, вернее, поехали на кружащих зубцах, изредка пересаживаясь с карусели на карусель. Диаметры кружа-



щей стали становились все короче, пока, наконец, самое малое колесико не подвезло нас к ровно дышащей спирали, то сжимавшей, то разжимавшей свое змеевидное тело в красных бликах, проникавших откуда-то сверху.

– Я им разрушу их мастерню времени, – прошуршал мой спутник и, переваливаясь с грани на грань, стал осторожно придвигаться к извику стальной змеи. Я хотел ему помочь, но заботливый друг, напомнив о моих еще незаживших ранах, сказал, что управится и сам.

Я видел его наклоненным над упругим дыханием стали. Он успел уже протиснуть свои острые ребра к металлическому зажиму волоска, неуклюже ворошась у самого его корня, как вдруг, видимо, не учтя движения, попал под удар его стального извива. Миг – и тело его, сверкнув гранями, взмыло кверху и, звякнув о пододвинувшийся сверху острый зубец, тяжело рухнуло назад, в стальные тиски мерно дышащей пружины. Но верный друг и умирая продолжал борьбу: я видел, как, крошась рыхлой пылью в стальном охвате змеи, его тело продолжало втискиваться еще глубже в суживающий его зажим. И пружина, все замедлявшая и замедлявшая свои судорожные движения, дернулась раз, еще раз – и стала. С криком отчаяния я прыгнул вниз, окликая друга. Но он уже успел замолчать навсегда. И молчание смерти, будто расплзшись от его неподвижного серого тела по спицам радиусов, остановило разбег колес, лязг зубцов и стук стали о сталь – и вся только что шумевшая и грохотавшая фабрика

времени вдруг замолчала, оставив меня одного в беззвучии и тьме над трупом моего единственного друга. Медленно, цепляясь глазом за рубинные блики, я подымался среди той особой «железной тишины», на которую впоследствии, кажется, покушалось перо одного из ваших писателей. Достигнув вогнутого дна глухой крыши остановившегося хронометра, я должен был еще день-два ждать, пока ее раскроют настежь, в свет. С первым же ударом солнечных лучей я, жмуря свои отвыкшие от дня глаза, быстро выпрыгнул наружу.

Мои предположения оправдались: я находился на рабочем станке часовщика и через минуту после освобождения должен был прятаться от выпучившегося на меня стекла лупы, повисшего надо мной: быть замеченным часовщиком, разумеется, не входило в мои расчеты.

Стараясь держаться неподалеку от часов моей возлюбленной, я дождался, когда ход их опять возобновился, и тотчас же запрятался поглубже в один из золотых рубчиков головки, которая, вращаясь, заводит часы. Раз или два мне пришлось прокружить, сжавшись в комок под едко пахнувшими пальцами мастера. Но внезапно я услышал знакомое дразнящее благоухание и тотчас же стал выкарабкиваться из своего тайника. Прямо надо мной была роговая навесь ее прозрачного ногтя: срываясь и падая, я все же успел пробраться в щель меж кожей и ногтем моей подруги и острый припадок счастья заставил меня плакать слезами встреч. Мне не хватило бы строк и слов Песни Песней, чтобы выразить то чувство,

какое рождала во мне близость к избраннице. Пусть эти прямо благоухающие пальцы, еще незадолго до того вращая золотые рубцы заводного стержня, осуждали меня на кровавую череду Голгофы, пусть и сейчас упругий ноготь избранницы мог раздавить меня, как жалкую мошку, – я благословлял и страдания, и смерть, потому что и смерть, и страдания были от нее. И когда, будто в ответ на мое счастье, стальное лезвие, нежданно сверкнув надо мной, вдруг врезалось в толщу ногтя, за край которого я цеплялся («Ножницы», – дернулось в мозгу), – во мне не было ни мига страха или гнева. Ловя губами роговой блеск ногтя, отстриженный вместе с ним, я покорно рухнул вниз. По счастью, до мягкой скатерти стола, на которую мы упали, было совсем близко: я даже не расшибся. О, мой милый юноша, если б сейчас кто-нибудь стал мне доказывать, что вся моя библиотека, выменянная на мерзлый картофель, не стоила и картофельной шелухи, я, пожалуй, не стану спорить, – но если вы захотите утверждать, что магия, таящаяся в любви, лишь вымысел дураков и поэтов, то... я с вами тоже не стану спорить, но буду твердо и четко знать, что вы еще не постигли любви: ведь это целых две магии – черная и белая, сочетающиеся, как белые и черные клетки шахматной доски. И если уж кончать сравнение, я в дни своих странствий был больше похож на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста.

Но к делу: в тот миг обнимать отвалившийся кончик ног-

тя возлюбленной мне уже казалось малым, мне нужна была она вся, – и, охваченный жадной возвратом, я зашагал по прямой, держа путь к пузырьку, запрятанному, как точно помнил, здесь же, на столе, под металлическим вгибом чернильницы. Тут-то и пододвинулась мне под шаг черная клетка шахматницы любви: и странно, что с виду она была белым бумажным квадратом, вдруг тихо преградившим мне путь. Я, сберегая минуты, решил не сворачивать и смело ступил на белый квадрат. В ту же секунду огромные черные знаки, выползая друг из друга, с тонким скрипом ерзая по синим дорожкам бумаги, задвигались мне навстречу. Я вовремя успел отскочить в сторону и, когда знаки пронеслись со скоростью экспресса вдоль синей рельсы, продолжал путь вдоль обочины еще не просохших чернильных разводов: буква за буквой они складывались в какую-то смешную абракадабру, но когда я попробовал их сложить в обратном порядке, то мне уже было не до смеху. Круто повернув носки, я бросился вслед за убегающими словами, жадно ловя в зрачки их нарастающий, слово за словом, зловещий смысл. Недаром я читал где-то у Белого, что если слово начинается с «л-ю...», то еще неизвестно, что дальше: «любовь» или «лютик». Но помню, что, добежав до этого самого «лю», я вдруг почувствовал, что ноги подломились подо мной; вытирая холодный пот с лица, я опустился на бумагу: вокруг меня, будто вчертив в свой сомкнутый заколдованный круг, чернела своим заключительным ноликом буква «ю». И в этот мучительный миг

мне мнилось, будто весь мир, умалённый, как и я, кончался тут: внутри чернильной, крепко стянутой петли.

Пока я бездействовал, какой-то шуршащий белый потолок стал быстро надвигаться на письмо. Пока я успел сообразить, в чем дело, и принять меры, я уже очутился внутри запечатанного конверта с именем соперника, написанным где-то там поверх глухой бумажной толщи. В бешенстве я заметался из стороны в сторону, но это было бесполезно и вело лишь к тому, что, натыкаясь в полутьме конверта на новые и новые слова, присохшие твердыми горельефами к бумаге, я поневоле осмыслял их, что причиняло мне новую боль. В конце концов, отбезумствовав, я забился в угол конверта и стал покорно ждать дальнейшего.

Увы, у меня было больше чем достаточно времени и на размышления... Адрес, скрытый от моих глаз, тащил письмо сквозь сотни и сотни верст, и я соображал, что теперь мне, человечку меньше пылинки, вернуться назад, к спасительному стеклянному зигзагу, так же легко, как жителям планеты в системе Сириуса достигнуть нашей Земли. А временами я с горьким наслаждением сравнивал себя с крохотным самцом из семейства *Wanessa Jo*, которого природа, завлекши на ротовые щупальца его гигантизированной подруги, сначала продергивает сквозь все тайны ее тела, а затем, вместе с ее экскрементами, выбрасывает прочь.

Длились мысли – длился и путь. Бумажный слой глухого конверта плохо защищал от стужи, мучившей меня в улич-

ном почтовом ящике и частью в дороге: качаясь внутри своей нетопленной темной теплушки, я закалял себя для тех странствий, которые впоследствии нам с вами пришлось совершать в трудные и голодные годы войн.

Но прошло несколько дней, и рука адресата вскрыла конверт. О, как я ненавидел своего освободителя: еще до встречи с ним, вернее, с его манжетой, пододвинувшейся в момент чтения письма почти вплотную ко мне. Я успел сделаться опытным лазальщиком, – и мне ничего не стоило, впрыгнув в манжету, добраться до желтых бугров его кожи и меж реденькой рыжей поросли, покрывавшей склоны его руки, постепенно добраться до белого отвесного кратера стоячего воротничка, откуда, при умелом использовании кожных рывков и прыщевых курганов, уже ничего не стоило добраться до щетины усов, обвисшей над красным жерлом рта. В данном случае, злыдневский прием перехватывания шепотов казался мне вполне целесообразным.

Но из этой затеи ничего не вышло: мимо меня проносился либо грохочущий, либо бубнящий воздух, но шороха шепотов я так и не дождался. Притом место было до чрезвычайности беспокойное: рот этого чудовища был вечно в работе: то он плюскался губами о губы, то налипал на стекло рюмки или бокала, то трясся и дергался от хохота и орудийного гула слов. Я не гожусь в Лепорелло и потому не завел каталога поцелуев, от которых мне не было покоя, особенно по ночам, когда я, спросонок, должен был крепко хвататься

за свой наблюдательный волосок, чтобы как-нибудь не ввалиться меж губ и губ. Изнуренный трудным путешествием, бессонницей, измученный длящимся унижением и ненавистью к этому грязному, нелепо огромному животному, которого искали за сотнями верст слова ее признаний, — я дольше не мог терпеть самой мысли о том, что мой гигантский соперник жив и как будто не собирается не жить.

Но что было делать? Для начала я решил предпринять разведку. Улучив час, когда чудовище захрапело, я, спустившись с своего наблюдательного поста, проник сквозь полуоткрытые губы и провал искрошившейся пломбы на поверхность его языка: под ногами у меня было кочкастое, с чавкающей слизью и влажью, втягивающей ноги, болотце. Постепенно, с кочки на кочку, я пробрался к его небу, и, раньше чем чудовище успело задвигать пастью, я уже протискивался сквозь узкий катакомбный ход евстафиевой трубы. Добравшись до среднего уха, я коротким переходом, лишь в одном месте прорвав сплетение тканей, преградивших мне путь, достиг кортиевой спирали, которой не хватало лишь пяти с половиной оборотов, чтобы превратить ее в модель Дантова ада. Чудовище к этому времени уже успело проснуться, и звуки его голоса, ввиваясь в звонкую спираль, как-то особенно навязчиво лезли мне в уши. Я стал обдумывать свой дальнейший маршрут. Случайно я вспомнил о так называемом гипотетическом человечке, измышленном Лейбницем в одном из его писем к Косту: гипотетический человечек,

пущенный ради полемических целей внутрь мозга человека, меж клеток которого он может свободно бродить, возвратился, как этого хотела математическая фантазия метафизика, с целым ворохом аргументов, якобы опровергающих материализм. Мое положение не располагало к философствованию, и если я что и хотел опровергнуть, то только право на бытие, которым пользовалось существо, в тканях которого я находился. Но лейбницевский фантазм мне понравился: я решил, что ему пора уж, давно пора, из мифа в действительность.

И вскоре я уже пробирался среди ветвистых дендритов и нейронов, спутавших свои осевидные отростки в одну мозговую чашу. Скорбная тень флорентийца, спутника всех разлученных, и тут мне напомнила о той из своих кантик, в которой описан лес самоубийц: нейронные ветви были живы и шевелились, отдергиваясь от прикосновения, и, когда я разрывал их, фибриллы сочились кровью и липкой влажью.

Я находился внутри мышления моего врага: я видел дрожь и сокращение рыхлых ассоциативных нитей, с любопытством наблюдал то втягивающиеся, то длиннющие щупальца нервных клеток, сцеплявших и расплеывавших свои длинные вибрирующие конечности. Я стал хозяйничать в чужом мозгу так, как это бы сделал дикарь, попавший на телефонную станцию: я разрывал ассоциативные волокна, как рвут провода в тылу у врага, кромсал концевые отростки нейронов, по крайней мере те из них, которые были мне под силу. Иные, отдергивающиеся друг от друга извилистые вет-



ви нервов я насильно связывал двойным морским узлом. Если б я мог, я бы выкорчевал весь этот мыслящий лес, но я был слишком мал и слаб и вскоре, выбившись из сил, весь в брызгах крови и рваного мозга, бросил свою жестокую, но бесполезную работу. И пока я отдыхал, живой лес уже успел вырастить новые нити и, спутав вокруг меня тысячи тысяч клеток, продолжал свой сцеп и расцеп ветвей, полз и дрожь тонких в склизких белых и серых сплетений.

Очевидно, мне одному, в пару рук, тут ничего нельзя было поделывать: нужна была коллективная работа сотен и сотен таких же, как я. И мой противник, вероятно, спокойно получавший все эти вибрации и ползы в виде так называемой жизни, и не подозревал, что внутри его мышления пробралось чужое, враждебное ему мышление, вся логика и сила которого сконцентрированы на том, чтобы истребить его навсегда. Да, пылинка захотела опрокинуть гору, столкнуть ее в ничто, и если Давид жалкой пращей свалил великана, то почему моя месть, думал я, не может посягнуть на великана в тысячи крат большего. Правда, на стороне библейского бойца было, по сравнению со мной, некоторое преимущество в росте, но на моей стороне было преимущество позиции. И, не медля ни мига, я стал готовиться к нападению.

Прежде всего надо было проникнуть к врагу в кровь. Прорвав один из ближайших капилляров, я, толкаемый током крови, по все ширящимся и ширящимся артериям быстро заскользил по направлению к сердцу. Рядом со мной плыли,

ударяясь о стенки, то сбиваясь в кучи, то расцепляясь на отдельные особи, какие-то довольно большие, круглой формы, с вздувшимися, мерно вбирающими и выдавливающими на себя кровь боками, – животные. Иногда эти красноватые пористые мешки, подплывая друг к другу, прикасались рубчатым ободом, охватывающим их тело, к такому же ободу соседа: это и был тот молчаливый язык, на котором изъяснялись эти красные камбалы, как первоначально назвал их я, не сообразив, что это попросту кровяные шарики.

Оседлав движущиеся бока одного из этих существ, я относительно легко заскользил меж круглых стен артерий. Вначале оседланное существо недовольно водило боками, стараясь сбросить меня в кровь, потом мы оба начали привыкать друг к другу. Сидя поверх одного из поперечных рубцов обода, живая ткань которого охватывала тело моего коня, я заметил, что он, в отличие от других, плывущих рядом круглых существ, норовит плыть против течения, что сильно тормозило нам путь. Соскользнув от случайного толчка на другой рубец обода, я увидел, что конь мой тотчас же поплыл в противоположном направлении. Тогда я, меняя седла, то есть систематически пересаживаясь с рубца на рубец, стал надавливать на них тяжестью тела, – и всякий раз движения красного мешка как-то менялись: так я стал совершенствоваться в разговорном языке кровяных шариков. Он оказался достаточно богатым для того, чтобы вобрать в себя то, что стало проступать все яснее и яснее в моем мозгу. Праща Да-

вида длиннила его руку в неравном поединке, на который он решился, всего лишь на пару локтей. Я же хотел размотать пращу, которая может добросить удар до самых дальних мишеней, пращу давно испытанную и выверенную в столетиях борьбы: я говорю об *агитации*.

Надавливая, как пианист на клавиши рояля, на рубцы множества живых ободов, проплывавших в вечном кровавом токе, я сыграл, обнаружив неплохую пальцевую технику, свой Totentanz<sup>4</sup>, после которого всю эту клавиатуру пришлось захлопнуть черной крышкой навсегда. Внутри той гигантской фабрики, в которой я сейчас находился, насосы и клапаны действовали без роздыха, и несчастных тружеников крови катало вдоль вен и артерий ни на миг не прерывающимися толчками сердца. Круглые рабочие катыши денно и ночью кружили от сердца к легким и обратно. И, сгрузив баллоны кислорода, медленно ползли, чернея от натуги, под ношами молекул углекислоты и гемоглобинного груза. Им и в голову не приходило... Впрочем, виноват, головы-то у них и не было, – зато она имелась у меня, – внутрь их рубчатых ободов никак не втискивалась мысль, что организация их труда построена на принципах эксплуататорства.

Мне пришлось перетрогать тысячи и тысячи рубчиков, трущихся об меня, прежде чем внутри этих вроскосных мешков не возникла вложенная мною мысль о Венартпрофе и о восьмичасовом кровообращении. Идея так или иначе по-

---

<sup>4</sup> Танец смерти (нем.).

кончить с чудовищем, мучающим и меня, и их, бедных безгласных вечных тружеников, захватила меня всецело: и вотрись сюда в кровь какой-нибудь новый Менений Агриппа, ему бы не переспорить – своими дурацкими баснями – в те дни ни меня, трибуна кровообращенческого плебса, ни лучших из моих учеников, которые, красноречиво действуя своими рубчиками, трущимися о встречные живые обода, катились быстро кружащими телами по всем разветвлениям текучей крови, всюду разнося наш лозунг: восемь часов кровообращения в день. И ни секунды более.

Сам я ни на миг не слезал с рубчатой спины моего нового друга, который научил меня не только языку кровяных шариков, но и сердечному чувству к ним: чувство это крепло с каждым ударом сердца, не дававшего ни секунды роздыха ни мне, ни им и безуданно бившего по нас захлестывающим током крови. Я называл своего нового друга Нодем (он был кругл, как и все его товарищи), и по мере того, как наши совместные скитания приобретали все более хлопотный и агитаторский характер, теплое чувство кровной дружбы с этим скромным работником крови, покорно подставлявшим свои натруженные бока под мои колени, росло и углублялось с каждым днем. Брожение, вызванное мною в венах моего Голиафа, ширилось и разгоралось с удивительной быстротой: мне, вероятно, удалось-таки взвинтить температуру моему врагу.

Не рассчитывая на одиночное выступление группы кровя-

ных шариков, примкнувших ко мне и Нолю, я, поручив последнему продолжать агитационную кампанию внутри жил, временно расставшись со своим единомышленником, проник в лимфатическую систему врага. Здесь работа протекала медленнее и труднее: сонно текущая лимфа замедляла путь и тормозила связь, а вялые мягкотелые лейкоциты, заселявшие мутно-молочную слизь этого тусклого и медлительного мирка, медленно и трудно усваивали боевые лозунги.

Правда, ценою неусыпных и упорных усилий мне, добравшись до селезенки, где рос и воспитывался молодой лейкоцитняк, удалось-таки замутить внутри его не успевших еще утолщиться и разрыхлиться оболочек. В результате целые кучи лейкоцитов призывного возраста отказались идти на микробный фронт и орды спирохеттов, бациллин, палочковидных хищников и ядовитых спирилл вторглись в кожные пределы организма.

Ноль тоже не терял времени даром: и когда я вернулся из лимфы в кровь, меня сразу же обожгло ею, как кипятком. Вокруг все бурлило и волновалось. Революционные дружины красных кровяных шариков двигались к узким капиллярам, где удобнее было принять бой. Часть микробов перешла на сторону защитников старого двадцатичетырехчасового рабочего дня. Близился момент, когда должна была (говорю нашим языком) пролиться кровь, если б она и так не лилась непрерывно из артерий в вены и обратно.

Грозно расстучавшееся сердце не давало нам скучиться

и сконцентрировать силы, разрывая канонадой пульса наши смыкавшиеся ряды. Я приказал отступить в глубь капилляров. Но рассвирепевшая кровь гналась за нами и сюда, новыми и новыми ударами отрывая дружинников от скользких стен сосудов и снова швыряя в кровообращение. Тогда был дан сигнал: *строить баррикады*.

Сначала дело не ладилось. Но постепенно, сплющивая и связывая в одно комки слизи, сгустки, комья межклеточной ткани и трупы павших бойцов, нам удалось-таки провести *закупорку сосудов*.

Но радость победы длилась недолго. Скользя на своем верном Ноле от баррикады к баррикаде, я заметил, что мой носильщик движется все медленнее и медленнее.

– Скорее, – сказал я ему, подхлестываемый лихорадкой боя, – надо торопиться.

Ноль, задвигав изо всех сил вздувшимися боками, ускорил ход. Но ненадолго. Кровь, сквозь которую мы проплывали, утратив текучесть, что ни миг, становилась все гуще и вязче, делая движение трудным и медленным. Станный холод полз по круглым трубам артерий, сближая и стягивая их медленно стеклящиеся стены.

По пути, то здесь, то там, я видел группы победителей. Бессильно копошась в густеющей с каждой секундой кровавой грязи, они протягивали мне навстречу свои побелевшие рубцы, за ответом и помощью. Мой Ноль вдруг повалился на вздутый правый бок, придавив мне ногу. Он пробовал под-

няться и не мог, смутно шевеля своими холодеющими кольцевыми бугорками. С трудом высвободив ущемленную ногу, я попробовал поднять упавшего друга, но было поздно: он умирал. И пока я тщетно искал дрожащими пальцами бугорок, прикосновение к которому на их языке означало «прости», – смерть сделала свое дело. Я бросился к еще шевелящимся бойцам:

– Назад. Разобрать баррикады. Немедля. За мной.

Но и сам я, хромая, увязал в кровавом месиве, с трудом проталкивая тело вперед. Безногие же кровавые шарики, лишённые крови, не могли двигаться. Острая игла продернулась сквозь мой мозг: *не то*.

Захваченный борьбой с человеком, которого я ненавидел, организовав его смерть, я ни разу и не помыслил о том, что вместе с моим врагом должны погибнуть и все мои друзья, доверчиво и безответно отдавшие себя мне. О, теперь смерть маленького красного Ноля значила для меня гораздо больше, чем гибель в мириады раз большего противника: я готов был отдать назад жизнь похитителю моей любви в обмен на жизнь моего спутника и боевого товарища, милого и честно-го Ноля. А вокруг в стиснувшихся и медленно слипающихся стенах артерий валялись миллионы таких же, как он, убитых волей моей прихоти.

Кровь, та, что вокруг меня, давно уже остановилась, но кровь, кружившая во мне, никогда еще так густо не прили-вала к моему лицу: мне было стыдно, до мути и отвращения

стыдно самого себя, со своей смешной любовью и бесчестным гневом. Затем ли мой учитель доверил мне силу синей тинктуры, чтобы я превратил ее в орудие своих куцых страстишек и эгоизма?

Натыкаясь, что ни шаг, на трупы своих жертв, обманутых и убитых мною, я стал искать выход из тела гиганта, тоже превращенного мною в труп.

Надо было торопиться, чтобы до погребения всей этой огромной массы стилого мяса успеть выбраться наружу. Вначале, хотя я и сильно прихрамывал, знание анатомии помогало мне находить правильный путь внутри катакомбных ходов кровеносной системы. Но, сделав какой-то неверный поворот, я скоро заблудился и в путаном переулочье мелких артерий. А время меж тем не ждало. Напрягая слабнущие силы, я кружил, увязая по колена в сукровице и почти не продвигаясь вперед. Так прошел день. Другой был почти на исходе. Запах тления, вначале слабо различимый, от часа к часу превращался в отвратительную вонь, от которой я почти терял сознание. Но лабиринт сосудов, все ниже и ниже надвигавшихся на меня своими обвисшими сводами, все не выпускал меня наружу. Мысль о том, что и мне придется разделить участь моих жертв, приобретала все большую и большую вероятность. Философам легко, зарывшись носом в свои книги, строчить что-то там о презрении к смерти; но я хотел бы их ткнуть носами в то смрадное бездвижие смерти, в ту путаницу обвислых гниющих фибр и клеток, под тол-



щами которых барахтался я, – и трансцендентальные дураки раз навсегда вытряхнули бы из своих книг, вместе с паутиной и пылью, все свои дивагации о смерти и бессмертии.

Но как ни хлестал меня ужас конца, как ни напрягал я волю и мускулы, вскоре я понял, *что не успею* обогнать погребальный обряд, который, вероятно, уже где-то там, за пределами кожи, начался. Правда, ценой последних усилий мне удалось, прорывая сочащиеся трупным ядом ткани, прорваться на поверхность какого-то широкого хода, но тут сознание мое замутилось, и я упал в ничто. Не знаю, сколько времени длился обморок: вероятно, не более часа. Придя в себя, я увидел смутно брезжущий откуда-то свет. И странно: ткани трупа, на которых я лежал, мерно и тихо шевелились. Подняться у меня еще не было сил. Я лишь повел ладонью вокруг себя: какие-то мягкие толстые стебли, на сомкнувшихся вершинах которых я лежал, будто качаемые ветром, дуновения которого я не ощущал, ритмически двигались сначала медленно-медленно назад, от света, затем быстро и стремительно вперед, к свету: от света – к свету; от – к; и с каждым толчком мое легкое тело, скользя со стеблей на стебли, придвигалось все ближе и ближе к проступям света. Несомненно, я находился на мерцательных волосках пищевода, которые сохраняют способность к движению и после смерти организма.

Вскоре я уже мог подняться на ноги и без помощи мерцательных стеблей двигаться навстречу мерцанию света, про-

бывавшегося сквозь зубы трупа внутрь ротовой полости и даже немного далее. Добравшись до мертвого зева, я мог уже ясно различить гулкие звуки панихиды, угрожавшие мне быть моей панихидой. Работая изо всех сил подошвами, я добрался до знакомой испорченной пломбы в момент, когда голоса за длинной прорезью рта, зазиявшего над моей головой, пели о последнем целовании. Приходилось пережидать, хотя ситуация и не позволяла промедлений.

Выпрыгнув на поверхность трупа, я бросился со всех ног по направлению к боковой доске гроба, стремясь достигнуть ее края раньше, чем гробовая крышка успеет сделать то же самое. Добежав до оконечины плеча покойного, я уже стал взбираться на плоский, в два уступа, срез доски, как сильный деревянный звук от толчка крышки, пододвинутой к гробу, заставил меня заметаться из стороны в сторону – черная тень уже повисла надо мной, и приходилось выбирать: или назад под крышку, или вперед под удар деревянного ранта. Я всегда выбирал и выбираю: *вперед*. Бросившись поперек ребра доски, я бежал с закрытыми глазами, каждый миг ожидая быть расплюснутым. Дерево с визгом и сухим стуком ударило о дерево и... раскрыв глаза, я увидел, что его синяя масса сомкнула свои челюсти в полушаге позади меня и что сам я, потеряв равновесие, сорвался с края ранта и скольжу вниз, задерживаясь лишь о путаницу перевившихся серебряных нитей, сверкающей бахромой свешивающихся к земле. Инстинктивно я ухватился за одну из серебряных веревок и

тотчас же закачался на ней, чувствуя, что спасен. Но, когда я прижался, ища удобного положения, головой к витому серебру, я заметил, что волосы мои были ему под цвет.

Да, мой друг, я ушел от деревянных челюстей, проглотивших моего врага. Но молодость мою в тот день, поставив на дроги, повезли и закопали вместе с миллионами трупов, сброшенных в труп...

Не буду описывать вам, как я в груди конвертов, обрамленных черными полосами, отыскал конверт с именем женщины, которую, еще так недавно, я искал и хотел. Имя это, прежде самым очертанием своим учащавшее шаг моего сердца, было навсегда отрезано от меня черными линиями квадрата, включившего его в себя.

Спокойно вошел я внутрь еще не запечатанного конверта и не стал даже тратить ни времени, ни сил на чтение траурного письма, вскоре после того повезшего сквозь стоверстное пространство меня назад: к склянке. Точнее, к склянкам, потому что мысль о той, третьей, стеклянной подорожной, ждущей меня в лаборатории моего наставника, с неожиданной силой овладела мною. Сидя меж четырех углов конверта, я думал о том, что не понятая мною история о двух картонных сердцах наконец раскрыла передо мной все свои карты; я думал, что путанные медитации мои об аристотелевских большом и малом человеке распутали теперь для меня все свои узлы: теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца: мы соприкоснулись – не кожей о кожу, а кровью о кровь.

И то, мыслил я, что отняла у меня пролитая алая кровь, то вернут мне, влившись в меня, алые капли третьей склянки.

Прибыв к месту назначения, я благополучно добрался до стеклянного знака, и он снова превратил меня в *меня*. В квартире не было ни души. Я оглядел знакомый будуар. Все тот же благоуханный беспорядок. На старом месте лежали и часики, на циферблате которых чуть было не закончилось мое бытие. Отогнув рукав, я и сейчас мог видеть глубокий рубец от их секундной стрелки, разросшийся вместе со мною в длинную рваную рану, успевшую зарубцеваться. Я взял циферблат в руки; стрелки не двигались: забыли завести. Я повернул несколько раз золотую головку часов, и внутри опять зацокало время. Вспомнились жала его бацилл: пусть их живут – я не мстителен.

На золотом шитье моей любимой диванной подушки валялся грязноватый мужской воротничок. Я взглянул: 41. Я ношу: 39. Что ж, пусть. И, не глядя более по сторонам, я пошел к двери. Но дверь, будто предупреждая меня, раскрылась: за порогом стояла она, все такая же и вместе с тем уже никакая для меня, изумленно щуря овалы своих чуть близоруких глаз. Фоном для нее служила высокая широкоплечая фигура юноши, застенчиво топтавшегося позади нее, с лицом, выражавшим покорную радость: фон, по мановению портрета, скользнул в соседнюю комнату, женщина же сделала два-три робких шага навстречу:

– Вы? Но ведь дверь была закрыта: как вы вошли?

– Очень просто: меня еще вчера бросил к вам в ящик для писем почтальон.

– Как странно: вы так изменились.

– Как обыкновенно: вы так изменили.

Лицо ее стало чуть бледнее.

– Я ждала. Я бы ждала и дольше. Но...

– Ваше Но дожидается вас за стеной. Впрочем, и ему вы наступите когда-нибудь на сердце. Прощайте.

И я направился к двери. Ее голос задержал меня еще на минуту.

– Погодите. Прошу вас: ведь вы же должны понять... как человек... – слова ее не слушались.

– А вы уверены в том, что я человек? Может быть, я только так... странствующее Странно.

И мы расстались. Быстрыми шагами, даже не заходя к себе, я направился к дому учителя. Уличные шумы и грохоты охватили меня со всех сторон. Вероятно, был праздничный день: веселая и неторопливая толпа топталась на тротуаре и у газетных киосков. Но я шел, глядя себе под ноги. Только случайно, подняв глаза, я увидел кучу будто слипшихся желтых, синих и красных шаров, которые, круглясь, точно огромные капли, легко скользят сквозь воздух, плыли над толпой. Я ускорил шаг. И не прошло и получаса, как...

Рассказывавший вдруг круто замолчал.

– Учитель, я слушаю: «не прошло и получаса, вы говорите, как...»

Он рассмеялся:

– Не пройдет и получаса, как... ваш поезд отойдет. И, чего доброго, без вас. Взгляните на циферблат: пять минут десятого. Пора. Прощайте, мой сын!

И минутой позже наши глаза в последний раз взглянули друг в друга: через порог. Затем дверь затиснула створы и тайна красной тинктуры осталась позади, за звонко щелкнувшим ключом.